

18+

ЛЕОНИД КАРПОВ

Всемирная история: грязная и вонючая

ТОМ ПЕРВЫЙ



Леонид Карпов

**Всемирная история: грязная
и вонючая. Том первый**

«Издательские решения»

Карпов Л.

Всемирная история: грязная и вонючая. Том первый /
Л. Карпов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-700216-5

Хроника человечества, зажатая в тесном тамбуре вечности. Здесь пахнет кислыми щами, застарелым потом и жженой изоляцией. Эпохи сменяют друг друга, как грязное белье в тазу: от большого взрыва до искусственного интеллекта, хрипящего из заплеванных динамиков. История — это не даты, а чавканье сапог по весенней кашнице и липкий страх в глазах маленького человека. Предельно близкий взгляд на мир, где грань между плотью и ржавым железом окончательно стерлась в общей свалке бытия.

ISBN 978-5-00-700216-5

© Карпов Л.
© Издательские решения

Содержание

Большой взрыв	7
Мел-палеогеновое вымирание	8
Начало прямохождения у предков человека	9
Первые каменные орудия	10
Первое использование огня	11
Появление Homo sapiens	12
Первые захоронения	14
Изобретение музыкальных инструментов	15
Исчезновение неандертальцев	17
Начало земледелия и демографический рост	18
Приручение человеком кошек	19
Строительство пирамиды Хеопса	20
Завершение строительства Великой пирамиды Хеопса	21
Принятие Законов Хаммурапи	22
Извержение вулкана Санторин (Тира)	23
Гибель Атлантиды	24
Создание Вед	25
Проповедь Заратустры (Зороастра)	26
Падение Трои	27
«Книга перемен» («И-цзин»)	28
Первая Олимпиада	29
Основание Рима	30
Возникновение греческого эпоса	31
Чеканка первых монет	32
Сожжение великого храма Соломона	34
Пир Валтасара и «Слова на стене»	35
Вступление Кира Великого в Вавилон	36
Смерть царя Кира Великого в битве с массагетами	37
Просветление Будды Шакьямуни	38
Первая проповедь Будды в Оленьем парке	39
Пифагорейская школа	40
Подвиг Муция Сцеволы	41
Возникновение демократии в Афинах	42
Смерть Лао-цзы	43
Марафонская битва	44
«Наказание моря» Ксерксом I	45
Битва при Фермопилах	46
Саламинское сражение	47
Смерть Конфуция	48
Смерть Эсхила	49
Зарождение атомистической теории	50
Смерть Сократа	51
Публикация «Государства» Платона	52
Философия Аристотеля	53
Герострат: пожар в храме Артемиды	54
Спор Диогена с Платоном	56

Диоген и Александр Македонский	57
Основание Александрии Египетской	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Всемирная история: грязная и вонючая Том первый

Леонид Карпов

© Леонид Карпов, 2026

ISBN 978-5-0070-0216-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0070-0217-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Большой взрыв

13,8 миллиарда лет назад

Пафос космологического события заключается в тотальности и парадоксальности возникновения всего из «ничего». Это момент, когда научное описание мира достигает предельной драматической точки, сопоставимой с мифологическими актами творения.

Вначале было тесно. Так тесно, что некуда было плюнуть, да и нечем — слюна еще не выварилась в общем котле, где кипело густое, маслянистое Ничто. Пахло не вечностью, а прокисшей капустой, паленой шерстью и застарелым потом, будто в каморку размером с вошь набили весь будущий род человеческий вместе с их сапогами, патефонами и коровами.

Повсюду — копошение. В этой кромешной, липкой жиже кто-то невидимый сопел прямо в ухо, тыкал в ребра острым локтем еще не рожденного созвездия. Хлюпало. Какая-то сволочь впотьмах пыталась натянуть на себя общее одеяло материи, которой на всех не хватало. Слышалось бормотание: «Куда прешь? Осади, мил человек, здесь тебе не синагога».

В самом центре этой свалки, в точке, которую потом назовут сингулярностью, сидел на корточках зачуханный Режиссер Мироздания в засаленном ватнике. Он ковырял в носу грязным пальцем, выуживая оттуда ошметки будущих галактик.

— Ну что, сподобимся? — прохрипел он, обращаясь к пустоте, которая пучила на него бельма.

Пустота молчала, только где-то в углу, где намечался Млечный Путь, кто-то надсадно кашлял, выплевывая вместе с мокротой первые протоны. Все было завалено каким-то хламом: ржавые цепи времени, битые черепки пространства, обрывки старых газет, которых еще не напечатали, но которые уже пожелтели от ожидания. Грязь была повсюду — жирная, черно-земная, она забивалась под ногти Бытия.

— Тошно мне, — сказал Режиссер Мироздания и вытер руки о штанину. — Ни вздохнуть, ни пернуть. Теснота, господи помилуй...

Он нащупал в кармане спички. Спички были сырые, головки крошились. Он чиркнул раз — только искра высеклась и тут же утонула в киселе антиматерии. Чиркнул два — из темноты выплыла чья-то лошадиная морда, облизывала ему плечо и снова канула в небытие.

А потом случилось. Без всякого пафоса, без трубного гласа. Просто что-то лопнуло, как перезревший гнойник. Раздался звук, похожий на то, как если бы огромный сапог наступил на спелый арбуз. Вспыхнуло серым, мутным, неприятным светом — таким, какой бывает в четыре утра в казенном коридоре.

И все повалило наружу.

Выплеснулись водородные туманности, похожие на развешанное в прачечной мокрое белье. Полетели камни, искры, сопли, шестеренки. Все это месиво — со скрежетом, матом и визгом — рвануло в разные стороны, расширяя эту жуткую, вонючую коммуналку до размеров мироздания. Кто-то закричал: «Хватай, а то убежит!», но хватать было уже нечего.

Свет мешался с грязью, фотоны путались в бородах патриархов, которые еще не родились, но уже всю чесались. Время, как пьяный фельдшер, споткнулось о порог и поползло вкривь и вкось, отсчитывая свои паршивые секунды.

Режиссер Мироздания в ватнике стоял посреди этого содома, зажмурившись, и только сплевывал под ноги разлетающиеся туманности.

— Развели, понимаешь, панораму... — пробормотал он, утирая со щеки липкую звездную пыль. — Теперь вот мети это все миллиарды лет. Тьфу на вас.

А Вселенная все летела и летела — огромная, нелепая, заваленная мусором, пахнущая сырым подвалом и абсолютным, неоспоримым одиночеством. Секунда ноль закончилась. Начался понедельник.

Мел-палеогеновое вымирание

66 млн лет назад

Столкновение с астероидом Чикишулуб. Динозавры, доминировавшие на Земле 165 миллионов лет (для сравнения: человек разумный живет всего около 300 тысяч лет), исчезли за геологическое «мгновение». Это был крах величайшей биологической империи в истории.

Небо цвета застиранной попоны, набухшее желчью и известковой пылью, низко висело над болотом. В густом, маслянистом воздухе плавал запах гнилой чешуи и скисшего хвойного сока.

Старый трицератопс, чья морда была изрыта глубокими оспинами и покрыта запекшимся пометом кетцалькоатлей, безуспешно пытался почесать роговой воротник о корявый ствол гинкго. Дерево ответило глухим, утробным скрипом. Вокруг, в липкой серой жиже, копошилась мелочь: какие-то панцирные недотыкомки грызли друг другу хвосты, хлюпая и чавкая. В этой суеде не было величия империи — лишь бесконечное, потное самовоспроизводство плоти.

Вдруг звук исчез. Мир онемел, как ударенный пыльным мешком по голове.

На горизонте, там, где туман сходил с соленой кромкой океана, беззвучно расцвела белая опухоль. Она росла стремительно, выжигая сетчатку, превращая вечер в стерильную операционную. Астероид Чикишулуб не ударил — он ввалился в атмосферу, как пьяный фельдшер в тесную каморку, вышибая двери вместе с косяками.

Через секунду пришел жар.

Тираннозавр, только что терзавший тушу мелкого гадрозавра, замер с куском волокнистого мяса в пасти. Его крошечные, налитые дурной кровью глазки закатались. Шкура на боку зашипела, пошла пузырями, как старая клеенка на кухонном столе. Он попытался издать рык, но из горла вылетел лишь сиплый свист — легкие мгновенно превратились в сухари.

А потом пришла стена. Не вода и не воздух, а плотная взвесь из испаренного камня, песка и обломков богов. Она катилась по равнине, перемалывая многотонные костяки в мелкую муку. Великие ящеры, правившие миллионы лет, в это последнее мгновение выглядели нелепо: задравшиеся лапы, непроизвольное испражнение, немые крики в забитые пеплом глотки.

Все смешалось в серый кисель: папоротники, короны тиранов, панцири черепах и слизь. Абсурдная доминанта плоти закончилась коротким, грязным всхлипом.

Наступила долгая, холодная темнота, в которой только мелкие, похожие на крыс существа, дрожа в норах, доедали обгоревшие ошметки бывшего величия, чавкая в абсолютной тишине пустого мира.

Начало прямохождения у предков человека

3,56 млн лет назад

Самый недооцененный триумф. Представьте гоминида, который впервые поднялся над высокой травой саванны. Это был момент освобождения рук — будущих инструментов для письма и созидания. Весь пафос в том, что мы перестали смотреть в землю и начали смотреть на звезды.

Жижа была повсюду: в ушах, между пальцами ног, в самой мысли о завтраке. Липкое, серое крошево африканского плиоцена вбивалось под ногти, когда Укрр, самый сутулый и вонючий гоминид в стае, в очередной раз зарылся носом в прелую листву. Рядом кто-то хрипел, испражнялся и чавкал — свои, родные. Мир пах гнилым деревом и несвежей мочой.

В высокой траве, похожей на частокол из ржавых копий, было тесно. Трава лезла в глаза, хлестала по шелушащимся щекам, скрывала тех, кто хотел Укрра съесть, и тех, кого хотел съесть он. Жизнь состояла из бесконечного разглядывания чужих пяток и волосатых задов. Мир был горизонтален, мокр и предельно понятен в своей безнадежности.

Вдруг что-то щелкнуло. Не в челюсти — та привычно перемалывала жесткий корень, — а где-то в позвоночнике, заросшем соляными отложениями и лишаем. Укрр замер. Его левое колено, изъеденное артритом еще до изобретения самого слова «артрит», издало звук лопнувшей сухой ветки.

Он начал подниматься.

Это было нелепо. Его сородичи, копошащиеся внизу, в самом соку навозной жижи, задрали морды. Один, с гноящимся глазом, иронично сплюнул кусок недожеванной гусеницы прямо Укрру на подъем стопы. Мол, куда ты, дурень? Там же ветер. Там же видно все.

Укрр выпрямлялся долго, с хрустом, преодолевая сопротивление собственной шкуры, которая за миллионы лет привыкла быть палаткой для блох. Поясница взвыла. Кровь, веками отливавшая от головы к тяжелым кулакам, вдруг кинулась вверх, в мозг, вызывая тошноту и вспышки сального света перед глазами.

И вот он встал. Голова пробила слой колючего озона.

Руки, эти грязные, покрытые струпами крюки, которыми он только что ковырял в земле, вдруг повисли вдоль туловища. Пустые. Бесполезные. Беспомощные. Они больше не держали планету. Они стали лишними, как хвост у рыбы на сковородке. Правая пятерня судорожно дернулась, будто уже искала, за что бы схватиться — за перо, за долото, за горло ближнего.

Над травой было страшно. Там было небо — огромная, бессмысленная кастрюля, полная холодного света. Укрр посмотрел вверх. Его взгляд, привыкший к фактуре перегноя, наткнулся на первые звезды. Они висели там, как застывшие капли жира в остывшем супе.

— Э-э... — выдавил он, и слюна, смешанная с грязью, потекла по подбородку, пачкая грудь.

Он больше не видел землю. Он видел бездну. И в этой бездне не было ни еды, ни самок, ни укрытия. Был только холодный, абсурдный триумф вертикального позвоночника. Снизу донеслось недовольное уханье — стая требовала, чтобы он вернулся в уютную, вонючую траву. Но Укрр стоял, пошатываясь на кривых ногах, и смотрел в пустоту, пока в его ладонях зарождалась будущая тоска всех библиотек мира.

Триумф пах мочой и холодным космосом.

Первые каменные орудия

2,6 млн лет назад

Момент превращения биологического вида в технологический. Первый удар камня о камень — это рождение Разума, который отказывается приспосабливаться к среде и начинает приспосабливать среду под себя.

Слизь перемешалась с серой костяной мукой. С неба, похожего на выстиранную в щелоче ветошь, сыпалась липкая дрянь — не то снег, не то пепел издохшего вулкана. Пахло тухлой рыбой и мочой предков. В густом, как кисель, тумане копошились существа: лохматые, с низкими лбами. Из носа у них текла густая, зеленоватая жижа, которую они периодически слизывали с верхней губы, не отрываясь от дела. Кто-то в глубине оврага истошно завывал, захлебнулся и стих.

Уг, чья нижняя губа свисала влажным лоскутом, сидел в самой жиже. Рядом проплыло чье-то обглоданное колено. Он не смотрел. Он вообще никуда не смотрел, глядел внутрь своих лобных долей, где ворочалось что-то острое и неудобное.

Мир вокруг был слишком тесен: ветки били по рожам, камни резали пятки, холод совал свои ледяные пальцы под мышки. Мир требовал, чтобы Уг сдох, как и тот, с коленом.

Уг взял булыжник. Тяжелый, облепленный склизкой тиной, пахнувший вечностью. В другой руке — кусок кремня, похожий на застывшую почку гиганта.

— Ы-ы-ы... — прохрипел Уг. Из его ноздри выдулся пузырь и лопнул с отчетливым звуком разочарования.

Он ударил.

Звук получился подлым, сухим, как треск ломающейся ключицы. От кремня отлетел острый скол. Этот звук перекрыл хлюпанье грязи и чавканье соплеменников, деливших в туманедохлого суслика.

Уг посмотрел на острое ребро камня. Это не была часть его тела. Это не был клык, растущий из десны. Это была штука. Отдельная. Злая.

Он снова ударил. Иронично, но природа в этот момент как будто поперхнулась. Птица с костяным клювом, пролетавшая над оврагом, внезапно обгадилась и рухнула в кусты.

Уг приставил острый край к толстой ветке, которая только что мешала ему чесать спину. Надавил. Дерево поддалось, пустив желтоватую сукровицу сока. Это был первый акт ненависти к природе. Первый бунт против того, чтобы просто быть частью ландшафта.

Уг оскалился, обнажив стертые до десен зубы. Ему больше не нужно было ждать, пока ветка сгниет или согнетса. Он мог ее убить.

Это было начало конца. Разум вылупил из серой жижи не как сияющий нимб, а как этот вонючий, острый обломок, зажатый в кулаке, испачканном в нечистотах. Уг больше не хотел приспосабливаться. Он посмотрел на мир — на этот заплеванный, холодный, неудобный мир — и решил его перерезать по своему вкусу.

В тумане кто-то снова закричал. Уг не обернулся. Он примерялся, как бы половчее вскрыть брюхо горизонту.

Добро пожаловать в историю. Дальше будет только грязнее.

Первое использование огня

1,5 млн лет назад

«День первой искры». Самый пафосный момент в истории вида: когда предок человека перестал бояться стихии и приручил ее.

Грязь была повсюду: в ушных раковинах, под расслоившимися ногтями, в запекшихся углах рта. Она не просто покрывала кожу, она была естественным продолжением ландшафта, где небо, свинцовое и низкое, давило на загривки, заставляя сутулиться еще сильнее.

Старый Гы почесал вонючую паховую складку и сплюнул густую, как деготь, слюну прямо на морду дохлого суслика. Вокруг копошились. Кто-то чавкал, высасывая костный мозг из обломка берцовой кости; кто-то методично втирал в щеку соплеменника пережеванную глину — обряд это был или просто чесотка, разобрать не представлялось возможным. В воздухе висел запах мокрой шерсти, несвежего кала и чего-то кислого, предвещающего беду.

А потом пришло Оно.

Сначала это был треск — сухой, надменный, совсем не похожий на привычное хлопанье болота. Вспышка укусила Гы за слезящийся глаз. Кусок дерева, пораженный небесным огнем, упал в центр их лежбища, шипя и выплевывая рыжие иглы.

Стадо отпрянуло. Они вжались в склизкую стену пещеры, превратившись в единую пульсирующую массу потных тел. Урчание, переходящее в поросячий визг. Гы смотрел на танцующий оранжевый палец. Это было нелепо. Это было смешно в своей ярости. Он видел, как на раскаленном сучке лопнул жирный клещ — с коротким, почти музыкальным «пшик».

Гы шагнул вперед. Его колено хрустнуло, как сухая ветка. Он протянул руку — лапу, заросшую жестким волосом, с кожей, похожей на подошву мамонта. Он ждал боли, ждал, что небо обрушится ему на темя, но почувствовал лишь странное, почти издевательское тепло.

— БИ-Ы... — выдавил он, и в этом рыке, продирающемся сквозь налипшую копоть, уже слышалось будущее «Мое!».

Он схватил ветку. Огонь лизнул его пальцы, запахло паленой органикой, но Гы не отпустил. Он обернулся к остальным, щурясь от дыма, который забивал ноздри и вызывал спазмы. Его лицо, исчерченное морщинами и шрамами, в этом свете выглядело как маска безумного бога, забытого в канаве.

Он ткнул горячей палкой в сторону вожака. Тот, огромный и тупой, как валун, вжал голову в плечи. Гы засмеялся — хрипло, лающе, захлебываясь кашлем. Он больше не боялся этой рыжей твари. Он сам стал этой тварью.

В углу кто-то продолжал методично обглаживать суслика, не обращая внимания на конец света. Гы прижал горящий конец к куску сырого мяса. Зашипело. Пошел пар. Аромат жареного белка ударил в мозг, вызывая почти религиозную тошноту.

Человечество началось не с мысли. Оно началось с того, что один грязный ублюдок перестал дрожать от страха и решил, что теперь он будет жечь этот мир сам, не дожидаясь милости от хмурых туч.

Гы плюнул в костер. Огонь ответил ему веселым треском, освещая копошащуюся внизу серую массу, которая еще не знала, что свобода — это просто возможность поджарить соседа на медленном огне.

Появление Homo sapiens

300 000 лет назад

Формальный старт нашего вида. Момент, когда природа создала «венец творения», способный осознать собственное существование.

В низине, где туман спрессовался в серый творог, воняет тухлым белком и мокрой шерстью. Липкое крошево из глины и перепревших папоротников лезет в ноздри. Сверху, с невидимого неба, валится косая дрянь — не то снег, не то пепел сгоревшего болота. Все течет, все гниет, все пухнет.

Трофим — назовем его так — сидит на корточках в жиже. У него чешется под лопаткой, там, где свалилась старая шкура, но рука не достает, мешает распухший локоть. Рядом кто-то мелкий, безглазый, тычется мордой в его бедро, попискивает. Трофим, не оборачиваясь, бьет наотмашь костлявым кулаком. Раздается влажный хруст. Писк обрывается. Хорошо.

Из мглы выплывает рожа. Огромная, с покатым лбом, с носом, похожим на раздавленный баклажан. Это Старший. У Старшего на шее болтается чья-то кишка, засохшая до состояния серой веревки. Он дышит тяжело, со свистом, выплевывая вместе со слюной ошметки сырого мяса.

— Ы-ы? — спрашивает Старший, и в этом звуке столько экзистенциальной тоски, что даже копошащиеся в грязи жуки замирают.

Трофим смотрит на свои пальцы. Они длинные, дурные, дрожат сами по себе. На ногтях — черная кайма вечности. И вдруг — щелк. Будто внутри черепа, за завалом из инстинктов и страха перед грозой, провернулся ржавый засов.

Он видит свою руку. Не как орудие, чтобы рвать или копать. А как предмет. Странную, пятипалую штуку, облепленную слизью. Она принадлежит ему. А он — ей. И за этой рукой стоит что-то еще. Темное, душное, огромное.

— Я... — выдавливает Трофим. Горло саднит, голос похож на скрежет камня по льду.

Старший замирает. Кишка на шее качнулась. Вокруг них из тумана вылезают остальные: волосатые, кривоногие, с вечно текущими носами. Кто-то ковыряет в ухе обломком кости, кто-то мочится под себя, глядя в пустоту с идиотской улыбкой.

— Я — есть, — шепчет Трофим, и эта мысль влетает в него, как раскаленный гвоздь.

Ему становится страшно. Не от саблезубого кота в кустах, не от голода. А от того, что теперь он знает, что он умрет. Раньше просто затихал в грязи, а теперь — сгорит, исчезнет, испарится, и эта гнилая низина останется без него.

Это и есть венец. Терновый.

Трофим хватает с земли обглоданную бедренную кость. Она тяжелая, холодная, пахнет старым жиром. Он смотрит на нее, потом на Старшего. В глазах Старшего — бесконечная, тупая пустота доисторического вечера. В глазах Трофима — первый в истории человечества запор мысли.

— Хрусталева, кость! — хрипит он, сам не понимая, что несет.

Абсурд ситуации давит на плечи. Мир вокруг — свалка божьего брака, недоделанных тварей и вечной сырости. И среди этого месива стоит он, Номно, мать его, sapiens, осознавший свое ничтожество.

Трофим поднимает кость над головой и бьет ею по камню. Просто так. Чтобы звук был. Чтобы заявить этой жиже, этому дождю и этим дегенератам в шкурах, что здесь теперь есть Кто-то.

Кость лопается. Брызги костного мозга летят Трофиму в глаз. Он начинает хохотать — тонко, надсадно, до икоты. Остальные пятаются, крестятся (хотя креста еще нет, есть только страх перед молнией) и уходят в туман, волоча за собой убитую косулю.

Трофим остается один в грязи. Он смотрит на свои дрожащие колени и понимает: началось. Теперь всегда будет холодно, всегда будет стыдно и всегда будет хотеться чего-то, чего нельзя сожрать.

Природа создала шедевр — хомно сапиенса. Шедевр вытер нос грязным пальцем и заплакал, потому что осознал, что у него нет ботинок.

Первые захоронения

130 000 лет назад

Самое пафосное событие духовной истории. Когда человек впервые положил цветок или охру в могилу соплеменника, он победил смерть. Это рождение Религии и абстрактного мышления: вера в то, что «ушедший» все еще существует.

Воздух густой, как несвежий кисель, перемешан с гарью, вонью мокрой шерсти и кислым душком немытого человеческого нутра. Грязь повсюду. Она хлюпает под босыми, растрескавшимися подошвами, чавкает, забивается под ногти. Кто-то в темноте пещеры надсадно кашляет, выплевывая вместе с мокротой остатки жизни.

Старик с обвисшей челюстью, похожей на гнилой корень, лежит в жиже. Его кожа — серая рогожа, обтянутая на острых костях. Он уже не здесь, но и не там. Рядом на корточках сидит Хромой; он ковыряет в ухе костяной иглой, сосредоточенно и бессмысленно. С потолка капает холодная слизь, попадая Хромому прямо за шиворот, но он лишь дергает плечом, как лошадь, отгоняющая муху.

— Сдох? — спрашивает Безносый, пробираясь сквозь толчею тел. Он несет в пригоршне рыжую пыль — охру, перемешанную со слюной и страхом.

Хромой не отвечает. Он берет руку покойного — тяжелую, холодную клешню — и начинает усердно втирать рыжую грязь в посиневшую кожу. Пальцы скользят, липнут. Это движение — нелепое, абсурдное в своей серьезности — кажется в этой тесноте чем-то непристойным.

— Красиво будет, — бормочет Хромой, и его лицо искажает судорога, похожая на вымученную ухмылку. — Там, где туман, его по этой краске узнают. Свой, мол. Красный.

Вокруг копошатся остальные. Кто-то грызет обглоданную кость, кто-то хрипло ругается из-за клочка шкуры. Хаос, вонь, давка. Но здесь, над телом, совершается великое издевательство над логикой природы.

Безносый достает из-за пазухи пучок завядших, припорошенных пеплом цветов. Они выглядят жалко в этом царстве слизи и камня. Он кладет их на грудь мертвеца, придавливая грязным пальцем, чтобы не сползли.

— Ешь, старик, — шепчет он. — Или нюхай. Хрен тебя знает, что ты там делать будешь.

Это была первая победа над очевидностью. Труп — вот он, гниет и пахнет, но эти двое, втирая глину в остывающее мясо, выдумали другого, невидимого старика. Они создали пространство, которого нет на карте пещеры.

Снаружи ревет ветер, таская по скалам ледяную крошку, а здесь, в зловонном полумраке, рождается бог. Не из света и пафоса, а из желания обмануть пустоту при помощи горсти ржавой пыли и дохлых соцветий.

Старик лежит, вымазанный рыжим, с цветами на впалой груди. Он теперь — первый в истории симулякр. А Хромой и Безносый смотрят на него с идиотским восторгом, потому что теперь им тоже не так страшно гнить. Они придумали, что смерть — это просто смена цвета.

Изобретение музыкальных инструментов

36 800 лет назад

Флейты из костей. Момент, когда человек осознал гармонию звука. Пафос того, что музыка не нужна для выживания, но она необходима для Души.

Склизко. В пещере воняло кислым жиром, прелой шерстью и несвежим пометом — дух стоял такой, что хоть топор вешай, да нормального стального топора еще не выдумали, разве что обломок кремня, зажатый в потной ладони. Грязь хлюпала под пятками, вязкая, перемешанная с обглоданными хрящами.

Охристый палец, корявый и вечно дрожащий, колупал в ухе. Старик, которого все звали просто Горбом (хотя горба у него не было, зато была лишняя челюстная кость, торчащая из шеи), сидел в самом углу, где с потолка монотонно капала мутная жижа. Кап. Кап. Прямо на лысину, покрытую струпьями.

Рядом, привалившись к стене, хрипел Одноглазый. Он пытался разгрызть берцовую кость стервятника, но зубов осталось всего три, и те шатались, как гнилые колышки в болоте. Одноглазый сплюнул сукровицу, вытер рот засаленной шкурой и бросил кость Горбу.

— На, поскреби, — просипел он. — Все равно подохнем. Мамонт ушел, жрать нечего, только вошь сосет под мышкой.

Горб взял кость. Она была легкая, полая, обслюнявленная. Он посмотрел на нее с какой-то бессмысленной злобой. Вокруг копошились тела: кто-то чесался, кто-то ловил в волосах соседа жирных блох, кто-то тихо выл в темноту, просто так, от общей нескладицы бытия. Мир был тесен, мокр и предельно набит ненужными вещами.

Горб поднес кость к лицу. Из дырки, прогрызенной гиеной, вылез сонный червь. Горб вытряхнул его на ладонь и машинально раздавил. А потом, сам не зная зачем, прижал край кости к растрескавшимся губам. Грязь попала в рот, заскрипела на зубах.

Он дунул.

Раздался звук. Не хрип, не рык, не чавканье. Звук был тонкий, пронзительный, как комар, залетевший в пустой череп. Одноглазый вздрогнул, выронил камень и уставился на Горба единственным желтым зрачком.

— Ты чего это? — спросил он, и голос его сорвался на идиотский писк.

Горб не ответил. Он нашел пальцем вторую дырку — ту, что пробил острый осколок кремня, когда они делили добычу. Прижал. Дунул снова.

Звук изменился. Он прыгнул вверх, чистый и холодный, как лед под ногтем. В этой вонючей дыре, заваленной костями и дерьмом, вдруг возникло нечто, чему не было места. Это нельзя было съесть. Этим нельзя было согреться. Оно не помогало убить зверя или выскрести шкуру. Это было абсолютно, вопиюще бесполезно.

И от этой бесполезности у Горба перехватило дыхание.

Он начал перебирать пальцами. Пыхтел, пускал пузыри слюны, качался из стороны в сторону. Кость пела. Она выводила какую-то нелепую, абсурдную кривую, которая разрезала тяжелый, спертый воздух пещеры.

Другие притихли. Перестали искать вшей. Даже младенец, до этого монотонно скуливший у груди мертвой матери (никто еще не успел ее оттащить, было лень), замолчал. Все смотрели на Горба. В их глазах, мутных и первобытных, отражался страх перед этой новой, необъяснимой напастью.

Это не было выживанием. Это было хуже. Это было томительное, сладкое осознание того, что внутри, за слоем жира и страха, есть пустота, которую нужно заполнить не мясом, а вот этим тонким, дрожащим воздухом.

Горб закрыл глаза. Кость в его руках больше не была костью мертвой птицы. Она стала мостом в никуда. В этой грязи, среди запаха гнили и обреченности, человек впервые понял, что у него есть Душа — капризная, прожорливая штука, которой мало просто не сдохнуть.

— Горб, — прошептал Одноглазый, и по его невымытой щеке поползла слеза, оставляя чистую дорожку на слое сажи. — Сделай еще раз. Дунь еще.

А снаружи выл ледяной ветер, и тьма облизывала камни, но внутри, в самом сердце смрада, звучала первая гармония — такая же нелепая и великая, как и сам человек.

Исчезновение неандертальцев

35 000 лет назад

Трагический финал конкуренции видов. Мы остались одни на планете. Это момент великого одиночества и одновременно полной ответственности за судьбу Земли.

Слякоть здесь была всегда, еще до того, как первый из нас научился членораздельно проклинать небо. Серое, жирное месиво под ногами перемешано с костями, горелой хвоей и чьим-то невыразимым калом. Воздух густой, как кисель из требухи, в нем плавают пепел, шерсть и невнятный шепот тех, кто уже не дышит.

На краю оврага, вцепившись заскорузлыми пальцами в склизкий корень, сидит Последний. У него тяжелая, как наковальня, челюсть и глаза, заплывшие от вечного гноя и недоумения. Он неандерталец, хотя сам об этом ни сном, ни духом. Для себя он просто — Тот, Кто Еще Хрипит. Его племя стаяло, как грязный сугроб в марте. Сначала ушли старики, кашляя кровью в золу, потом затихли бабы, прижимая к пустой груди окоченевших младенцев. Теперь — тишина, нарушаемая только чавканьем грязи.

Мимо, пригибаясь под тяжестью кожаных баулов, семят Другие. Узколицы, суетливые, с глазами быстрыми и пустыми, как у хорьков. Они тащат за собой вонь копченого мяса и новую, непонятную гордость. Один из них, с выстриженным клоками затылком и подвеской из волчьих зубов, спотыкается о ногу Последнего.

— У-у, падаль, — сипит Узколиций, харкает под ноги и дает Последнему затрепину костлявым кулаком.

Последний не отвечает. Он смотрит на свои руки — огромные, созданные ломать хребты мамонтам, а теперь бессильно ковыряющие мерзлый мох. В этом движении столько идиотского упорства, что становится тошно. Рядом проплывает насаженная на палку голова оленя, облепленная мухами; мухи ленивые, жирные, они уже знают, что еды теперь будет в избытке.

Мир схлопнулся до размеров этой канавы. Великое одиночество пахнет мокрой псиной и застарелым потом. Узколицы суетятся, делят шкуры, вопят на своем птичьем языке, строят заборы из палок и дерьма. Они теперь главные. На них свалилась планета — огромный, гниющий кусок мяса, который нужно переварить.

Последний заваливается на бок. Ухо погружается в жижу, и он слышит, как глубоко под землей ворочаются камни. Сверху на него падает чья-то обглоданная кость, следом льется помойная вода. Узколицы смеются — гортанно, мелко, мерзко. Они еще не знают, что это они — наследники. Что теперь за каждый чих, за каждую замученную тварь, за каждый сожженный куст отвечать придется им, и только им. В пустоте, которую они сами же и вычистили.

Грязь пузырится. Неандерталец выдыхает в последний раз, и этот выдох кажется смешным и неуместным, как икота на похоронах. Мы остались одни. Впереди — вечность ответственности, залитая ледяным дождем и заваленная мусором великой победы.

Все. Тащи хворост, костер тухнет.

Начало земледелия и демографический рост

9 000 — 8 000 лет до н. э.

«Неолитическая революция». Момент, когда человек перестал бегать за едой и заставил землю кормить его. Это рождение городов, собственности и первых цивилизаций.

Сырая, чавкающая жижа. Ноги вязнут в перемешанной с навозом и палым листом глине. Небо низкое, свинцовое, точно провисший под тяжестью гноя живот — вот-вот лопнет.

Старший, Хорь, с лицом, похожим на обглоданную кость, тычет корявой палкой в рыхлое чрево земли. Раз — дыра. Два — дыра. В дыру летит зерно, серое, пыльное, похожее на мертвую вошь. Хорь сплевывает тягучую, бурую слюну прямо в лунку. Причастие.

— Раньше бегали, — сипит Хорь, не оборачиваясь. Голос у него как треск сухой коры. — За туром бегали, за оленем бегали. Лапы сбивали, в кровь, в труху. Теперь сидим. Земля жрет, и мы жрем.

Сзади кто-то истошно, надрывно воет. Это баба, чье имя забыли еще в ту луну, когда зацвел дикий ячмень. Она рожает прямо в борозде. Младенец выскальзывает в грязь — синий, скользкий, как налим. Его тут же подхватывают десятки грязных рук. Передают по цепочке, пачкая в золе и слизи. Людей стало сравнительно много. Слишком много. Они кишат в этом тесном междуречье, как черви в падали. Стены хижин — из дерьма и прутьев — давят, смыкаются, воняют кислым потом и старой мочой.

У кромки поля стоит столб. На столбе — череп тура, обмазанный красной охрой. Это Собственность. Хорь рычит на каждого, кто подходит ближе шага. Его палка — уже не просто копалка, а власть. Кто не сеет, тот не ест. Кто не ест, тот подохнет за стеной, в диком поле, где еще воет ветер, не прирученный человеком.

— Мое, — шепчет Хорь, глядя ладонью жирный ком серозема. — И кость моя. И зерно мое. И ты, гнида, тоже мой.

В воздухе висит запах гари и вареной каши, густой, как клей. Кто-то спотыкается, падает лицом в свежий посев, сучит ногами в самодельных шкурах. Никто не помогает. Все смотрят в землю. Земля теперь — господин. Она не отпускает. Она привязала их к себе невидимой пуповиной, заставила горбиться, вырождаться в этих тесных, душных щелях между домами, которые скоро назовут городом.

А над всем этим — ироничный клекот ворона. Ворон знает: те, кто перестал бежать, уже в ловушке. Амбар — это первая клетка.

Хорь снова тычет палкой. Глина чавкает. Цивилизация начинается с того, что у тебя под ногтями всегда остается чужая грязь.

Приручение человеком кошек

Около 7 500 года до н. э.

Момент, когда человек и кошка впервые заключили «пакт о ненападении». Археологи обнаружили захоронение на Кипре, где человек и котенок лежат в одной могиле. Это на тысячи лет раньше египетских культов. Данное событие — символ того, как дикий хищник добровольно пришел к человеческому очагу. Кошка — единственное животное, которое приручило себя само, выбрав комфорт человеческого жилья в обмен на защиту зерна от мышей. Великая сделка, определившая уют нашей цивилизации.

Сырость. Сквозь дырявую соломенную кровлю в хижину втекает белесое, как рыбий глаз, утро. Пахнет прелой овчиной, прогорклым жиром и застоявшимся потом десяти поколений, не знавших мыла. В углу, в месиве из глины и битых ракушек, копошится старик — горбатый, с лицом, изборожденным морщинами, как высохшее русло ручья. Он чавкает, пережевывая жесткий корешок, и сплевывает бурую жижу себе под ноги, где в грязи копошатся жирные, лоснящиеся мыши.

Мыши здесь везде. Они шуршат в закромах с драгоценным эммером, пищат под подстилками, смело пробегают по парализованным ногам вождя. Они — истинные хозяева этой каменистой земли.

У входа, в полосе мутного света, застыло Существо.

Оно появилось три луны назад. Рыжее, поджарое, с глазами цвета незрелого лимона, в которых застыло бесконечное, ледяное презрение к человеческому копошению. Это не собака, лижущая руку за обглоданную кость. Это маленький бог, пришедший из колючих кустарников, чтобы оценить масштаб катастрофы.

Старик замирает. В челюсти хрустит.

Зверь делает шаг. Его лапы не оставляют следов в жиже, он идет по колено в нечистотах, но остается стерильно чистым. Это оскорбление для всей этой грязной, хрипящей цивилизации хомно сапиенсов. Кошка останавливается у корчаги с зерном, где как раз пирует особенно наглый грызун.

Мгновение — и пространство схлопывается. Ни звука, только короткий хруст шейных позвонков. Мышь обмякает, а зверь не ест ее. Он кладет приношение к ногам старика, выгибает спину и издает звук, похожий на скрежет камня о камень. Утробный рокот.

Старик протягивает дрожащую, покрытую коростой руку. Пальцы тонут в невероятной, нездешней мягкости меха. В этот миг в тесном, зловонном пространстве заключается Великий Пакт. Кровь за уют. Смерть воров за тепло очага.

— Тварь... — сипит старик, и в его голосе смешиваются ужас и нежность. — Пришла все-таки. Сама пришла.

Через вечность их найдут вместе. В тесной яме, вырытой в известняке. Его кости, изъеденные артритом, и ее хрупкий скелет, прижатый к плечу. Человек забрал с собой единственное существо, которое не служило ему, а просто согласилось терпеть его соседство. В этой могиле, среди вони и тлена, родилась цивилизация, у которой теперь был сторож с вертикальными зрачками.

Строительство пирамиды Хеопса

Около 2 550 года до н. э.

Пик архитектурного пафоса Древнего мира. 2,3 миллиона каменных блоков, поднятых к небу. Это памятник человеческому эго, которое решило поспорить с вечностью — и выиграло, ведь пирамида стоит до сих пор.

Солнце над Гизой не светит — оно давит, как раскаленная чугунная плита, впечатывая в песок вонь немых тел, прокисшего пива и сырой рыбы. Небо цвета грязной извести низко висит над плато. В этом мареве воздвигается Нечто.

Хемиун, тяжело дыша, продирается сквозь копошащуюся массу тел. У него одышка и жирная складка на затылке, залитая потом. Мимо волокут известняковый блок — тушу мертвого белого зверя. Скрежет камня по дереву ввинчивается в уши, заглушая хрипы надсмотрщиков. Кто-то из рабочих падает, и его тут же, не прерывая движения, втапывают в жирную грязь нильского ила, перемешанную с испражнениями. Жизнь здесь дешевле, чем глоток теплой, полной личинок воды.

— Выше! — орет кто-то невидимый, захлебываясь кашлем. — К самому Солнцу в пасть!

Это архитектура удушья. В узких галереях темно, хоть глаз выколи; факелы коптят, выжигая остатки кислорода. Внутренние коридоры пирамиды пахнут не вечностью, а аммиаком, касторовым маслом коптилок и безнадеей. Стены смыкаются, они влажные от конденсата и тяжелого дыхания тысяч легких. Пространство схлопывается в узкий лаз. Здесь, в Большой галерее, абсурд достигает пика: люди-муравьи тащат гранитные плиты вверх, в темноту, чтобы замуровать там одного-единственного иссохшего человечка, возомнившего себя богом.

Хеопс сидит в тени временного навеса, атакуемый мухами. Он ковыряет в зубах золотой зубочисткой, глядя, как горизонт заваливается от тяжести его собственного эго. В воздухе висит пыль — мелкая, едкая, она забивает поры, превращая живых в статуи еще до смерти.

— Стоит? — сипит фараон, не глядя на зодчего.

— Стоит, — отвечает Хемиун, вытирая лицо грязным краем шендита. — И стоять будет. Камни притерты так, что волос смерти не пролезет.

Рядом, в канаве, юродивый хохочет, выплевывая кровавую пену, и тычет пальцем в небо, где среди белесой мути проступает геометрия безумия. Два с половиной миллиона блоков. Каждый — как чей-то невыкрикнутый стон. Это не триумф духа, это триумф каменной одышки.

Пирамида не растет вверх — она высасывает соки из земли, тяжелея с каждым часом, пока не становится единственной реальностью в этом мире, где плоть гниет, а камень торжествует. Вечность выиграла спор, просто перестав замечать людей, копошащихся у ее подножия в собственной нечистоте.

На вершине, в мареве, будет блеснуть пирамидион — бесполезный, как прыщ на спине гиганта. А внизу продолжается возня: чавканье сандалий по жиже, мат на забытых диалектах и вечный, сухой шелест песка, который уже начал медленное наступление на этот памятник величайшему человеческому одиночеству.

Завершение строительства Великой пирамиды Хеопса

Около 2530 года до н. э.

Условный «день последнего камня». Момент, когда человечество воздвигло самое высокое сооружение на планете, которое оставалось таковым почти 4000 лет.

В Гизе стоял туман, густой и кислый, перемешанный с известью, овечьим калом и испарениями тысяч потных тел. Солнце, тусклое, как заплывший глаз утопленника, едва пробивалось сквозь взвесь. Повсюду хлюпало. Из невидимых щелей в камне сочились жижа, похожая на сукровицу.

Пирамида не возвышалась — она нависала, вдавливая окрестности в песок. Стены ее, еще не облицованные до конца белым известняком, казались кожей гигантского, освежающего зверя.

На самой вершине, в тесноте, где не продохнуть от запаха прогорклого жира и нечистот, копошились люди. Слышалось невнятное хрипение, чавканье и чей-то тонкий, непрекращающийся скулеж. Какой-то чиновник с перекошенным париком и в грязном, залитом вином шендите, пытался просунуть голову между плеч каменотесов.

— Давай, — сипел он, толкая в бок горбатого рабочего. — Суй его, проклятое порождение Сета. Пирамидион ждет.

Последний камень — бенбен — был скользким от разлитого масла. Его тащили на кожаных ремнях, которые впивались в мясо ладоней, оставляя сизые борозды. Кто-то споткнулся. Раздался хруст — сухой, деловитый, как ломается сухая ветка. Человек исчез внизу, в серой мути, даже не вскрикнув, лишь чавкнуло что-то об уступ десятью метрами ниже. Никто не обернулся.

— Куда ты его тычешь? — закричал главный зодчий, чесавший под мышкой костяной палочкой. — Косо же! Боги смеяться будут! Вечность пойдет трещинами!

Зодчий был стар, из носа у него капало на чертежный папирус, превращая расчеты в грязные кляксы. Рядом карлик в ошейнике деловито обглаживал куриную кость, бросая объедки прямо под ноги работающим.

Камень наконец вошел в паз. Вошел со звуком, напоминающим отрывку. Все замерли. В наступившей тишине было слышно только, как ветер свистит в волосах и как где-то далеко внизу надрывно кашляет надсмотрщик.

— Ну? — спросил зодчий, вытирая палец о бедро рабочего. — Выше этого ничего нет?

— Ничего, господин, — ответил горбатый, сплевывая густую слюну на свежеложенный гранит. — Только небо. А небо пахнет кислятиной.

Чиновник вдруг икнул и начал мелко, по-бабьи креститься (хотя креста еще не изобрели), потом вспомнил, где он, и просто погрозил кулаком невидимому горизонту. Снизу, из бездонной глубины строительных лесов, донесся многоголосый рев, похожий на стон забиваемого скота. Это армия строителей узнала, что работа окончена.

— Четыре тысячи лет стоять будет, — пробормотал зодчий, ковыряя в ухе. — А вонять перестанет через неделю. Если дождя не будет.

Он посмотрел на свои руки — серые, в известковом налете, с обломанными ногтями. Повернулся, чтобы спуститься, но запутался в полах одежды, чертыхнулся и ударил карлика по затылку. Карлик привычно сжался, не переставая жевать.

На вершине величайшего сооружения мира осталась куча мусора, разбитый кувшин и чья-то окровавленная тряпка. Пирамида застыла — тупая, огромная, бессмысленная гора камня, пронзающая гнилое небо, пока внизу, в липкой тени ее основания, кто-то продолжал методично и скучно бить кого-то палкой по хребту.

Принятие Законов Хаммурапи

Около 1750-х гг. до н. э.

В Вавилоне была воздвигнута черная стела с высеченными правилами («Око за око»). Момент, когда власть официально признала, что закон должен быть записан и неизменен, — пафос рождения правосудия.

В Вавилоне шел дождь — густой, перемешанный с лессовой пылью и пометом стрижей. Он не освежал, а лишь превращал город в липкую серую каверну.

Царь Хаммурапи, страдающий от флюса и тяжести собственной парчовой тиары, продирался сквозь толпу в узком проходе между недостроенным зиккуратом и нужниками. Его сопровождала свита: евнухи с закисшими глазами, писцы, чьи пальцы навсегда скрючились в форме каляма, и стражники, чьи медные панцири пахли несвежим бараньим жиром.

— Теснее, — прохрипел царь, толкая в бок сутулого вельможу. — Почему здесь так пахнет женой шерстью?

Никто не ответил. Под ногами хлюпало. Какая-то старуха, застрявшая в толпе, пыталась сунуть в руку царю обглоданную кость, бормоча о несправедливости соседа, укравшего у нее одноглазого осла. Хаммурапи брезгливо отпихнул ее локтем прямо в лужу.

На площади, заваленной строительным мусором и обрывками циновок, возвышалась она. Черная глыба базальта. Мрачный палец, указующий в низкое, набухшее небо.

— Вот, — сказал писец, вытирая нос грязным рукавом. — Высекли. Как велено. Про око, про зуб, про обрушение дома на голову строителя.

Царь подошел ближе. На камне, вязью клинописи, теснились знаки, похожие на лапки раздавленных насекомых. В этом не было торжества — только окончательность приговора. Хаммурапи протянул палец, коснулся шершавого камня и тут же отдернул руку: базальт был ледяным, несмотря на жару.

Вокруг копошились люди. Один нищий деловито испражнялся прямо у подножия стелы, не обращая внимания на величие момента. Какой-то чиновник с длинным, похожим на баклажан носом, громко спорил с мясником о цене на требуху, тыча пальцем в свежевысеченные параграфы.

— Теперь не отвертятся, — прощамкал Хаммурапи, ощущая, как гнойник во рту наконец лопнул. — Записано. Не вырубишь. Око за око.

Он посмотрел на свои руки — грязные, в пятнах вина и чернил. Правосудие родилось не в сиянии славы, а в судорогах абсурда. Теперь каждый знал: если он выбьет зуб ближнему, его собственный рот превратится в такую же кровавую кашу по закону, утвержденному небом и этой черной, пахнущей сыростью колонной.

Сверху на стелу сел жирный стервятник и, коротко вскрикнув, уронил на царский указ белую кляксу помета. Хаммурапи иронично ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы.

— Пошли, — бросил он. — Хочу жареной саранчи и тишины.

Свита двинулась обратно, увязая в грязи, толкаясь и ругаясь, оставляя черный монолит стоять посреди этого копошащегося, бессмысленного и теперь официально упорядоченного хаоса.

Извержение вулкана Санторин (Тира)

Около 1628 — 1600 гг. до н. э.

Мощнейший взрыв в Эгейском море, породивший цунами высотой до 100 метров. Считается, что именно этот день стал концом Мinoйской цивилизации и лег в основу легенды об Атлантиде. Пик первобытного ужаса и пафоса гибели «райского острова».

Воздух густел, превращаясь в серую кашу из пепла и воробьиного помета. Небо, еще вчера лазоревое, как чешуя гнилой макрели, теперь набухло свинцовым гноем. Старый жрец, в засаленной тунике, расшитой облезлыми быками, ковырял в ухе обломком стилоса и сплевывал под ноги густую черную мокроту.

— Слышишь, Пифо? — прохрипел он, толкнув локтем в бок раба, чье лицо было густо залеплено мокрой золой. — Земля-то икает. Обожралась, сука, нашими дарами.

На площади царил вязкий, бессмысленный хаос. Огромная туша жертвенного быка, не дорезанная с утра, дергалась в конвульсиях, пуская пузыри из перерубленного горла. Мальчишка с пустыми глазами бежал мимо, таща за собой связку дохлых мурен, которые мерзко шлепали по булыжникам. Где-то в глубине лабиринта истошно, на одной ноте, выла женщина, и этот звук перекрывался сухим, костяным треском — это лопались перегретые плиты дворца.

Вдруг берег охнул. Вода ушла стремительно, обнажив склизкое, копошащееся дно, полное дохлых крабов и забытых амфор. Стало так тихо, что было слышно, как в пустом чане на рынке шуршит одинокая крыса.

— Сейчас рыгнет, — буднично заметил жрец, пытаясь поймать за хвост пролетающую мимо испуганную курицу.

А потом горизонт лопнул. Титанический столб огня и грязи ударил в зенит, превращая полдень в грязные сумерки. Гора Санторин не просто взорвалась — она распалась на куски, как перезрелая тыква под сапогом пьяного моряка. По небу полетели раскаленные камни, похожие на горящие экскременты богов. Один из них, размером с добрую хижину, с чавкающим звуком рухнул в толпу беженцев у причала, превратив их в однородное месиво из костей и клочьев плоти.

И тут пришла она. Стена воды, высотой с тридцать храмов, черная, увенчанная седой пеной и мусором. Она не катилась — она медленно, неотвратимо наваливалась на остров, всасывая в себя все: нарядные фрески с тощими дельфинами, золотые кубки, пьяных гончаров и саму память о «райском острове».

Жрец, прижимая к груди пойманную курицу, смотрел, как на него падает тень конца света. Он успел заметить, что на гребне волны колышется чей-то обоссанный тюфяк и обломок весла.

— Атлантида, матушка... — прошамкал он беззубым ртом, прежде чем соленая, забитая пеплом тьма заткнула ему глотку навсегда.

Остров содрогнулся, пустил пузыри и ушел под воду с коротким, непристойным всхлипом, оставив после себя лишь запах серы и бесконечное, равнодушное море.

Гибель Атлантиды

Около 9600 г. до н. э. (согласно Платону)

Легендарные «один день и одна бедственная ночь», за которые великая цивилизация ушла под воду.

Грязь в Атлантиде всегда пахла медом и дохлой рыбой. С утра небо затянуло серой чесоткой; тяжелые, как сырое мясо, облака висели над акрополем, цепляясь за золотые шпили храма Посейдона. В ноздри лезла вонь немытых тел, жженой шерсти и пережаренного дельфиньего жира.

По главной улице волокли священного быка. Животное скользило копытами по мокрой брусчатке, ревело, пуская вязкую слюну на босые ноги жрецов. Один жрец, в засаленной тиаре, сбившейся набок, беспрестанно ковырял в ухе гнилой щепкой и сплевывал под ноги проходящим рабам. Рабы тащили медные чаны, доверху набитые требухой; кровь перехлестывала через край, смешиваясь с лужами и козым пометом.

— Схлопнется, — прохрипел нищий, привалившийся к мраморной колонне, облепленной голубиным пометом. — Пуп земли развязался, матушка.

Никто не слушал. В порту стонали цепи. Огромные триремы бились бортами о причалы, выплевывая на берег заморских купцов с воспаленными глазами. Один из них, в рваном шелке, пытался продать механическую птицу, которая вместо пения издавала надсадный, сухой хрип. Мимо пробежала стая плешивых собак, терзая чью-то сандалию.

К полудню солнце стало багровым, как глаз тирана после трехдневной попойки. Воздух сделался плотным, осязаемым. Внезапно земля икнула. Из глубокой трещины в мостовой повалил густой, желтоватый пар. В этом тумане метались тени: кто-то кого-то бил колом по спине, кто-то жадно запихивал в рот сырую рыбину, кто-то молился перевернутой статуе, обливая ее мочой.

Потом пришла вода. Она не обрушилась стеной, а полезла отовсюду — из сточных канав, из-под половиц, из распахнутых ртов статуй. Грязная, кипящая жижа, несущая обломки весел, дохлых крыс и куски драгоценной смальты.

Архистратег в тяжелых, не по размеру больших латах, пытался взобраться на коня, но конь только безумно тарасил глаз и валил под себя горячий навоз. Железо лязгало, вода заливала сапоги. Стратег плакал, размазывая сажу по щекам, и требовал, чтобы ему подали вина, пока Атлантида медленно, с хлоппаньем и чавканьем, погружалась в бездну.

В последнюю минуту над городом повисла звенящая, душная тишина, прерываемая лишь бульканьем воздуха. Последним, что скрылось под водой, был палец золотой статуи, на который ошалело пыталась вскарабкаться мокрая курица.

Над океаном вспучился пузырь, лопнул с непристойным звуком, и осталась только серая рябь. И вонь.

Создание Вед

Около 1400 г. до н. э.

Момент, когда священное знание было «услышано» и облечено в гимны. Это рождение индийской духовности и древнейшего живого философского языка, который и сегодня звучит в храмах.

Грязь была повсюду: она забивалась в поры, в трещины на ступнях, пузырилась под копытами тощих, покрытых язвами коров. Воздух застыл, тяжелый от испарений свежего навоза, пережаренного проса и чего-то сладковато-гнилого — может, недоеденной собаки, а может, самой вечности.

Васиштха, старик с лицом, похожим на вяленую рыбу, сидел в самом центре этого месива. На его плече торчала облезлая ворона и методично долбила клювом в костяной гребень, застрявший в его нечесаных волосах. Вокруг суетились тени. Кто-то истошно орал в тумане, требуя вернуть долг или вылить помой. Слышалось чавканье: это чьи-то руки вслепую шарили в чане с мутной жижей.

— Слышу... — прохрипел Васиштха, и из его рта вылетела сонная муха.

Он не смотрел в небо. В небе не было ничего, кроме серой хвори и низких туч, цепляющихся за верхушки кривых баньянов. Звук шел изнутри земли, из утробного урчания голодных учеников, из чавканья сандалий по жиже. Это был не голос бога, а скрежет мироздания, похожий на звук ржавой пилы, вгрызающейся в сырую кость.

— Агни... — выплюнул он вместе с густой слюной. — Жри, значит. Огонь — это рот. Понимаешь, дурак?

Ученик, косоглазый юноша с распухшим коленом, замер, держа в руках миску с прогорклым маслом. Он попытался почесать спину о забор, но забор затрещал и обвалился, открыв вид на копошащихся в канаве детей.

— Пиши, — велел старик, хотя писать было не на чем, да и нечем. — Семь нитей. Семь быков. И чтобы все это хлопало. Гром — это не колесница, это Индра икает после сомы. Так и записывай: икота вселенская, неизбежная.

В этот момент чья-то грязная пятка впечаталась в плечо Васиштхи — мимо протащили тушу барана, оставляя за собой багровую дорожку в серой слизи. Старик даже не шелохнулся. Он ловил ритм. Этот ритм был в хрипе умирающего старика в соседней хижине, в скрипе несмазанной оси, в том, как мухи облепили гноящийся глаз коровы.

— Шрути... — пробормотал он, криво ухмыляясь беззубым ртом. — Услышано. Как будто у нас был выбор не слышать этого паскудства.

Он запел. Это не было возвышенным пением. Это был утробный вой, переходящий в кашель, ритмичное kloкотание в горле, забитом вековой пылью. Но в этом кашле внезапно проступила геометрия. Слова, тяжелые, как булыжники, падали в грязь, и грязь под ними не расплескивалась, а застывала чеканным узором. Грамматика рождалась из хаоса кишечных колик и сырого тумана.

— Огонь несет нас... — хрипел Васиштха, пока кто-то сзади методично вытирал об его спину засаленную тряпку. — К свету, значит. К чистоте.

Он иронично посмотрел на свои пальцы, покрытые коркой экземы, и внезапно расхохотался — страшно, до икоты, до слез, которые прорезали чистые дорожки на его заскорузлом лице. Слово было сказано. Оно повисло над этой ямой, над этим вечным предчувствием дождя, неподвижное и чуждое, как золотой слиток в навозной куче.

Индийская духовность сделала первый вздох, и этот вздох пах перегаром и сыростью.

Проповедь Заратустры (Зороастра)

Около 1200 — 600 гг. до н. э.

Условный день откровения. Первая в истории человечества концепция борьбы абсолютного Добра и Зла, повлиявшая на все мировые религии.

Воздух был густым, как овечий жир, и серым от пепла. В Арьянам-Вайджа сегодня воняло мокрой шерстью, кислым молоком и застарелым человеческим потом. Кто-то в тесноте хижины сплюнул густую, желтую мокроту прямо на край общего котла, и никто не обернулся. Грязь здесь была не обстоятельством, а единственной осязаемой формой бытия.

Заратустра сидел в углу, втиснутый между чьим-то гноящимся локтем и хрипящим козленком. Его белая рубаха давно стала цвета земли, по которой волочили трупы. Он не смотрел на людей. Он смотрел в пространство, где между вшивыми бородами и свисающими с потолка кишками жертвенных животных медленно ворочался сам космос.

— Слушайте, вы, недорезанные скоты, — голос его был тихим, сухим, как треск ломающейся кости. — Мир не просто гниет. Он разделен.

Кто-то из толпы, с лицом, изъеденным оспой, ткнул его в бок грязным пальцем. Из темноты донеслось бессвязное бормотание, переходящее в икающий смех. Снаружи, в тумане, истошно закричала женщина, но крик оборвался чавкающим звуком удара.

— Есть Мудрый Господь, Ахура-Мазда, — продолжал Заратустра, игнорируя слизь, стекающую по стене прямо ему на затылок. — Он — свет. Но под каждым вашим ногтем, в каждой капле гноя живет Ангра-Майнью. Дух Лжи. Он смеется, когда вы жрете мясо, не очистив его от червей.

Старик с бельмом на глазу подошел вплотную, обдал Заратустру тяжелым перегаром и попытался вытереть руки о его плечо. Заратустра не шелохнулся.

— Теперь нет середины, — прохрипел он, и в этот момент сверху, сквозь дыру в крыше, упал кусок сырого мяса, шлепнувшись в золу. — Вы либо с Ним, либо с ними. Добро и Зло грызут друг другу глотки в каждой вашей вшивой постели. Каждое ваше «да» — это удар мечом по тени. Каждое ваше вранье — это пир для Дэвов.

В углу завязалась вялая драка. Двое мужчин, хрипя и пуская слюни, катались в навозе, пытаясь выдавить друг другу глаза. Никто не обращал на них внимания. Абсурд происходящего сдавливал грудь, превращая проповедь в едва слышный шепот среди всеобщего чавканья и чесотки.

— Выбирайте, — Заратустра поднял глаза, и в их мутной глубине на мгновение отразился нестерпимо чистый, холодный огонь. — Либо вечный свет, либо эта жижа, в которой вы захлебнетесь навсегда.

Он поднялся, задев головой связку сушеной рыбы. Рыба качнулась, ударив его по лицу, холодная и соленая. Пророк вышел в туман, споткнувшись о порог. Позади него, в душном полумраке хижины, кто-то громко испустил газы и зашелся в кашле, переходящем в рвоту.

Борьба за судьбу Вселенной началась, но пахла она исключительно мочой и холодным пеплом.

Падение Трои

Ночь с 11 на 12 июня 1184 г. до н. э. (по расчетам Эратосфена)

Та самая ночь, когда деревянный конь вошел в город. Финал десятилетней войны, воспетой Гомером.

Слякоть перемешана с копотью. Город задыхается в густом, как кисель, тумане, пахнущем прогорклым жиром и несвежей рыбой. Кто-то истошно орет за глухой стеной, но крик тонет в чавканье грязи под чьими-то босыми ногами.

Огромное чрево деревянной твари, вкаченной в ворота, сочится дегтем. По доскам ползают жирные сонные мухи, невесть откуда взявшиеся в эту душную июньскую полночь. Из щели в брюхе коня вываливается ржавый наконечник копья, царапает камень — звук такой, будто железом проводят по зубам.

Царь Приам, потерявший всякий облик, сидит в луже собственного недопитого вина, тычет пальцем в дохлую крысу и бормочет что-то о величии предков. У него течет из носа, а парчовый плащ заляпан подливой. Кто-то пробегает мимо, спотыкается о царя, матерится густым скабрезным басом и исчезает в мгле, где уже вспыхивает не огонь, а какая-то рыжая гниль.

Ахейцы вылезают из коня медленно, неуклюже, как насекомые из кокона. Менелай, в шлеме, сбитом набок, долго пытается выпутать застрявшую сандалию из веревочной лестницы. У него одышка и слезятся глаза от дыма. Одиссей, с лицом, похожим на сушеную сливу, харкает на мостовую и равнодушно всаживает кинжал в горло спящему стражнику. Тот даже не просыпается, только пускает пузыри крови, мешая их с храпом.

Воздух становится плотным. В нос бьет запах горелой шерсти, нечистот и лавра. Кассандра бьется в припадке у храма, ее вопли никто не слушает — все заняты делом: тащат медные тазы, насилуют плачущих старух, режут скотину прямо в покоях. Гектор, кажется, все еще где-то здесь, в этом месиве, хотя его давно съели черви.

Троя не падает — она оседает в грязь, как перезрелый плод, источая вонь распада и бессмысленности. Кто-то громко хохочет в темноте, захлебываясь кашлем. Город превращается в одну большую, хлюпающую выгребную яму, над которой встает не рассвет, а мутный пар пожарища.

«Книга перемен» («И-цзин»)

Около 800 г. до н. э.

Момент, когда китайские мудрецы превратили гадание в математическую модель Вселенной. Пафос в том, что мир был представлен как бесконечный танец энергий Инь и Ян — все течет, все меняется.

Слякоть под сапогами пахнет мочой и перепревшим просом. Небо — цвета застиранного в крови шелка, низкое, давящее на темя, словно чугунный казан. В столице Чжоу, в этом гнилом чреве Поднебесной, весна не наступает — она просачивается сквозь щели в бамбуковых стенах в виде липкого тумана и кашля.

Старый Ли, чья борода напоминает клоч грязной ваты, запутавшейся в колючках, копается в корыте с гадательными костями. Кости скользкие, в сукровице. Рядом, на корточках, сидит молодой писец, его лицо изъедено оспой, а за ухом торчит обгрызанное перо. Писец икает и вытирает нос рукавом, размазывая тушь по щеке.

— Пиши, дурак, — сипит Ли, выплевывая на земляной пол темную слюну. — Не просто «баран сдох», а «верхняя черта — прерывистая». Инь это. Тьма. Дыра в заду мироздания.

В углу хижины кто-то протяжно воеет, там, в темноте, копошатся голые дети и худые собаки, делящие одну кость на всех. В воздухе висит запах гари и несвежих потрохов. Ли вываливает на стол пук сухих стеблей тысячелистника. Они ломаются с хрустом костей.

— Видишь? — Ли тычет пальцем в грязь, рисуя три параллельные черты. — Это Ян. Свет. Напор. Мужская сила, которой у императора уже столько же, сколько у этой дохлой крысы под порогом. Но суть не в том. Суть в том, что оно шевелится.

Он начинает лихорадочно перекладывать стебли. Пальцы у него кривые, ногти черные. Это не таинство, это кухонная возня в коммунальном аду древности.

— Все течет, — бормочет он, иронично скалясь беззубым ртом. — Сегодня ты Ян, завтра ты Инь, а послезавтра тебя съели соседи, потому что рис не взошел. Это математика, малец! Понимаешь? Не боги шепчут, а шестеренки крутятся. Числа! Чет-нечет, вдох-выдох. Вселенная — это огромная, потная, смердящая куча, которая ворочается по кругу.

Писец снова икает, роняя каплю слюны прямо на бамбуковую планку.

— Математическая модель, — гнусавит Ли, задыхаясь от кашля. — Мы превратили их страх перед грозой в таблицу. Порядок в хаосе. Теперь мы знаем, когда именно нас раздавит. И это, малец, называется мудростью.

Снаружи, в сером мареве, проезжает телега, груженная дырявыми котлами. Колесо скрипит так, будто режут живое существо. Грязь летит во все стороны, залепляя узкое окошко. Ли смотрит на свои стебли — они сложились в гексаграмму «Упадок».

— Красота, — шепчет он, вытирая руки о подол. — Идеальная гармония гниения. Пиши: все меняется. Кроме этой вони. Воняло при Яо, воняет сейчас, будет вонять и через три тысячи лет. Это и есть вечность.

Он берет чашку с мутной брагой, в которой плавает дохлая муха, и делает жадный глоток, довольно крякнув. Вселенная продолжает свой бесконечный, абсурдный танец в липких сумерках восьмисотого года до нашей эры.

Первая Олимпиада

1 июля 776 г. до н. э.

Традиционная дата начала первых игр в Олимпии. Момент, когда война уступала место спорту, а атлет становился равным богам.

В Олимпии не продохнуть от испарений. Июльское небо висит низко, как засаленный войлок, придавленное чадом от сжигаемых коровьих потрохов. Зевс здесь не громовержец, а глухой старик, запертый в тесном хлеву, где вместо амброзии — кислый пот и вонь прогорклого масла.

Элейцы прут сквозь толчею, толкаясь локтями в язвах. Священное перемирие. Война отступила, но оставила после себя гниль: калеки в грязных хитонах тычут обрубками в прохожих, требуя доли от жертвенного пира. Кто-то харкает в пыль, кто-то меланхолично жует сырую луковицу, глядя, как по священному Альтису гонят стадо испуганных свиней. Грязь перемешана с оливковым маслом так густо, что ноги в сандалиях разъезжаются, и ты то и дело влетаешь лицом в чью-то потную спину или в корявое плечо статуи, облепленной мухами.

Атлет — избранник богов — стоит у входа на стадион. Его зовут Короб, он повар из Элиды, и у него икота. Его голое тело густо смазано жиром, к которому уже прилипли мошки и клочья овечьей шерсти. Он не кажется равным богам; он кажется вываленным в сале утопленником, которого забыли закопать. Рядом какой-то жрец с перекошенным ртом яростно спорит с торговцем вяленой рыбой, размахивая окровавленным ножом для жертвоприношений.

— Беги, дурак! — хрипят ему в ухо.

Короб трогается с места. Это не полет стрелы, это судорога. Ноги вязнут в раскаленном песке, который пахнет мочой и старым железом. Вокруг — сплошная стена из лиц: небритых, щербатых, с безумными глазами. Они орут, но звуки тонут в общем гуле, превращаясь в бессвязное клокотанье. Кто-то падает, на него наступают, чей-то ребенок плачет, уткнувшись в подол завшивевшей рабыни.

Пространство сужается до размера узкого коридора между потными телами. Впереди — финишный столб, облезлый и кривой, похожий на обглоданную кость. Короб бежит, хрипя, высунув язык, а мимо проплывает абсурдный мир: старик в золотом венке, ковыряющий в носу; собака, грызущая чей-то брошенный сандалий; атлет-соперник, рухнувший в пыль и изрыгающий завтрак.

Когда его пальцы касаются дерева, ничего не меняется. Небеса не разверзаются. Просто чей-то тяжелый кулак вбивает ему в зубы ветку оливы, горькую и пыльную.

— Герой, — равнодушно говорит жрец, вытирая руки о подол. — Иди, там барана закололи. Почки тебе достанутся.

Короб стоит, шатаясь, среди ликующей, смердящей толпы. Он — бог. И его сейчас вырвет.

Основание Рима

21 апреля 753 г. до н. э.

Дата, от которой вели отсчет времени сами римляне. День, когда Ромул провел борозду будущих стен «Вечного города».

Сырая, чавкающая глина Палатина. Небо — цвета несвежего киселя, низкое, давящее затылок. Дождь не идет, он просто висит в воздухе мелкой, едкой взвесью, смешиваясь с испарениями от немытых тел и свежего навоза. Где-то в стороне, в тумане, истошно и бессмысленно орет осел, перекрывая хриплый кашель полуголых латинов.

Ромул, сутулый, в изгвазданной дегтем тоге, волочит плуг. Плуг тяжелый, костяной, с налипшими ошметками прошлогодней травы. За ним, спотыкаясь о корни, плетется толпа: калеки, беглые рабы с клеймами на скулах, пастухи с глазами, заплывшими от вечного недосяпа. Кто-то сморкается в кулак, кто-то меланхолично жует сырую луковицу, обдавая соседа резким, сивушным духом.

— Ровно веди, сукин сын, — сипит Рем, прижимая к разбитой губе грязную тряпку. — Стену же криво поставишь. Опять переделывать.

Ромул не отвечает. Он тяжело дышит, вывалив язык, похожий на кусок заветренной говядины. Борозда за ним наполняется мутной, ржавой водой. Это граница. Померий. Священная черта, через которую нельзя переступить, если не хочешь, чтобы боги вывернули тебе кишки наизнанку.

Мимо проносят корзину сдохлыми курами — гадание не заладилось, жрецы в лохмотьях спорят, тыча пальцами в синюшные потроха. Грязь повсюду: на лицах, под ногтями, в самих мыслях. Кто-то падает в борозду, его лениво бьют сандалиями по ребрам, не прерывая разговора о ценах на просо в Альба-Лонге.

— Город будет, — вдруг выкрикивает Ромул, останавливаясь и вытирая лоб предплечьем, отчего на коже остается черная полоса. — Вечный! С золотыми крышами!

Рем коротко, лающе хохочет, сплевывает кровь прямо в свежую яму и делает шаг через борозду. Просто так. От скуки и тесноты.

— Гляди, перешагнул. И где твои боги? Где твой...

Удар плугом приходится в висок. Звук сухой, как хруст гнилой ветки. Рем оседает в жижу, медленно, с каким-то недоуменным достоинством. Толпа на секунду затихает, слышно только, как хлупает вода в борозде и как кто-то вдаль продолжает методично бить палкой по пустому чану.

— Так будет с каждым, — буднично произносит Ромул, обтирая кость о полу тоги. — Теперь — отсчет. Пишите: день первый. Апрель, кажется.

Он снова впрягается в лямку. Город начинается с трупа в канаве и запаха мокрой шерсти. Борозда тянется дальше, вязкая, бесконечная, смыкающаяся в кольцо, из которого уже никому не выбраться.

Возникновение греческого эпоса

Около 750 г. до н. э.

Момент появления «Илиады» и «Одиссеи». Это рождение европейской литературы. Гомер подарил нам героев, чьи страсти и ошибки стали канонами для всех писателей на три тысячи лет вперед.

Склизко. В Хиосе всегда склизко, даже когда солнце жарит так, что камни трещат, как гнилые зубы. По узкому проходу, заваленному рыбой потрошью и битыми амфорами, продирается старик. Это Гомер. Он не видит, но чувствует лицом сырую вонь застоялого пота и горелого бараньего жира. Кто-то сует ему в бок костлявый локоть, кто-то за спиной долго и мучительно сморкается в подол хитона.

— Гектор, значит, помер? — сипит над ухом невидимый уродец, обдавая Гомера запахом чеснока и дешевого кисляка. — И кони его померли? А доспехи? Доспехи-то медные, небось, сперли?

Гомер молчит. У него во рту вкус меди и ржавчины. Он прислоняется затылком к шершавой стене, по которой стекает что-то липкое — то ли патока, то ли гной из перевязанного колена проходящего мимо козопаса.

— Опять сочиняет, — гнусавит прохожий, чье лицо напоминает мятый пергамент. — Про героев все. Какие там герои? Вчера Аякс из соседней деревни корову украл, так его в колодце утопили. Вот тебе и весь эпос.

Где-то в глубине двора истошно орет осел, перекрывая гул толпы, в которой каждый пытается ухватить соседа за пуговицу, которой еще не изобрели, или просто ткнуть пальцем в глаз.

— Пиши, слепой, — хрипит голос сверху. — Про то, как Ахилл рыдал. Громко рыдал, слюни пускал, в песке валялся. Людям нравится, когда герой в соплях. Это канон.

Гомер разевает рот. Зубов почти нет, десны темные, как баклажаны. Он начинает вытаскивать из себя слова, тяжелые и неповоротливые, как груженные телеги в непролазной грязи.

— Гнев... — выдавливает он, и тут же сверху падает дохлая курица, шмякаясь о его плечо. — Гнев, богиня, воспой... Ахиллеса, Пелеева сына... Сволочь он был, этот Ахилл. Пятку мыл, а душу — нет.

Толпа вокруг замирает, но не от благоговения, а потому что кто-то в центре упал в припадке, и все пытаются рассмотреть, какого цвета у него пена. Какой-то малый с грыжей на лбу тянет Гомера за край плаща:

— Слышь, отец, а Одиссей-то скоро вернется? У него дома Итака, там сыр, там бабы немые, а он все по морям шастает, сирен слушает. Идиотизм же.

Старик кивает, его слепые веки дрожат. Он уже видит их всех на три тысячи лет вперед: вон Гамлет в облезлой шубе ковыряет в носу, вон Раскольников тащит топор, завернутый в грязную мешковину. Все они — его дети, рожденные в этой тесноте, среди чавкающей грязи и запаха нечистот.

— Подарил я вам героев, — шепчет Гомер, сплевывая на сандалию прохожего. — Пользуйтесь. Жрите их страсти, обмазывайтесь их ошибками. Теперь это ваша общая яма.

Он делает шаг вперед, поскальзывается на арбузной корке и валится в толпу. Его подхватывают десятки рук — потных, жадных, пахнущих козой и вечностью. Кто-то сует ему в рот кусок черствого хлеба, кто-то пытается вырвать клоч из его бороды на память. Эпос начался. Впереди — мрак, гной и бессмертие, и никуда от этого не деться, пока последний гекзаметр не застрянет в горле у захлебнувшегося историей человечества.

Чеканка первых монет

Около 650 г. до н. э.

Лидийские цари заменили слитки и товар стандартными кружками металла с печатью. Пафос в том, что доверие стало измеримым, а торговля превратилась в абстрактную математику — фундамент современной экономики.

В Сардах хлюпало. Грязь здесь была особенная, лидийская: жирная, перемешанная с овечьим пометом, битым кирпичом и ошметками гнилой рыбы. Над Пактолом висел пар, тяжелый, как мокрое одеяло. Пахло кислым потом, горелым медом и железом.

Царь Гиг — или тот, кто теперь называл себя царем, коренастый старик с желтыми белками глаз и бородавкой, из которой рос пучок жестких седых волос, — сидел на низком табурете посреди двора. Вокруг него теснились люди, морды, спины. Кто-то постоянно сморкался в кулак, кто-то жевал вяленую саранчу, причмокивая и сплевывая шелуху прямо на царские сандалии.

— Вари, — прохрипел Гиг, не глядя на раба.

Раб, голый по пояс, покрытый сажей и свежими ожогами, мешал в глиняном горшке булькающее варево. Это не был суп. В горшке плавился электричество — природная смесь золота и серебра, похожая цветом на мочу больного лихорадкой.

Рядом, на перевернутой лохани, сидел писец с гноящимися глазами. Он чесался костяным стилем и что-то бормотал про пропорции, про «чистоту» и «меру».

— Раньше как было? — Гиг потянулся, хрустнув позвонками так, что стоящий рядом воин в помятом медном шлеме вздрогнул и уронил копье в жижу. — Ты мне быка, я тебе — три слитка. Твой бык дохлый, мой слиток кривой. Мы лаемся, мы плюем друг другу в бороды, мы чувствуем жизнь! Дух был!

Он выудил из чана маленькую каплю застывающего металла. Она была горячее, но Гиг только перекатывал ее в грубых пальцах, оставляя на золоте отпечатки кожи.

— Теперь — математика, — царь сплюнул под ноги. — Теперь я ставлю печать. Слышишь, ты, паршивец?

Он схватил за ухо проходящего мимо торговца пряностями. Тот задрожал, от него пахло корицей и застарелым страхом.

— Вот этот кругляш. На нем лев. Мой лев. Видишь морду? Видишь, как он скалится? Это значит, что я — я лично! — гарантирую, что здесь ровно столько веса, сколько надо, чтобы купить твою жену, твою совесть и этот мешок прелого шафрана. Нам больше не надо верить друг другу. Нам надо верить льву.

Гиг положил каплю металла на наковальню. Подмастерье, сопливый мальчишка с бельмом, ударил тяжелым молотом, на котором был вырезан зеркальный рельеф звериного оскала. Клац. Звук был сухим, коротким, окончательным.

Золотая капля сплюснулась в уродливый, неровный диск. Теперь это не был кусок земли. Это была идея.

— Бери, — Гиг бросил монету в грязь. — Она одинаковая. Все они теперь будут одинаковыми. Как вши на собаке. Ты можешь ее не любить, ты можешь меня ненавидеть, но ты примешь ее, потому что число не врет. Мы убили тайну сделки, парень. Теперь все — счеты.

Торговец упал на колени, шаря пальцами в жижу, выуживая маленькое желтое солнце. Он вытер его о край своего грязного хитона и лизнул. Металл был безвкусным.

Во дворе продолжалась суeta. Кто-то тащил за ногу сопротивляющуюся козу, кто-то громко молился, стоя в луже мочи, кто-то бил раба палкой по ребрам — звук был глухой, как по пустому барабану. А в углу, на куче мусора, сидел сумасшедший и чертил на стене бесконечные ряды цифр, задыхаясь от восторга и копоты.

Доверие стало вещью. Маленькой, твердой и холодной. Мир перестал быть лесом, полным духов и случайностей; он стал гроссбухом, который вел Бог-бухгалтер с окровавленными руками.

— Следующий! — крикнул Гиг, ковыряя в ухе золотым стилем. — Вари еще. Еще печатай. Скоро мы все измерим. И всех взвесим. И ничего не останется, кроме цифр в пустоте.

Над Сардами пошел мелкий, едкий дождь, превращая город в бесконечную, серую таблицу, где каждый вздох уже был оплачен и занесен в колонку «расход».

Сожжение великого храма Соломона

9-е число месяца Ав (586 г. до н. э.)

Войска Навуходоносора II разрушили Первый храм и угнали евреев в «Вавилонское пленение». Начало великой национальной драмы, отраженной в псалмах.

Жара в Иерусалиме стояла густая, как пережаренный бараний жир. Небо, выбеленное зноем, казалось, вот-вот треснет и вывалит на город требуху раскаленных звезд. Храм еще не горел целиком, но уже сочился густым, жирным дымом; это горели кедровые балки, пропитанные веками молитв и гарью жертвоприношений.

Кто-то в толпе, похожий на облезлого пророка с обломком ослиной челюсти в руках, истошно выл, пытаясь перекричать лязг вавилонского железа. Железа было много. Оно было тусклым, потным, пахло кислым вином и чужой, немой кожей. Войска Навуходоносора двигались в каком-то ленивом, сомнамбулическом беспорядке. Огромный детина в чешуйчатом панцире, хрюкая от натуги, пытался отодрать золотой лист с косяка ворот, а мимо него тащили связанного священника, чья борода запуталась в кистях цицит.

— Господи, помилуй, — бормотал кто-то в грязи, сплевывая выбитый зуб. — Или не милуй, все едино.

Внутренний двор Храма превратился в кучу мусора. Священные сосуды, сваленные в кучу, звенели под сапогами халдеев, как дешевая кухонная утварь. Маленькая, облупленная собачонка с безумными глазами носилась между ног гигантов, пытаясь ухватить за полу хитона пробежавшего мимо пленника. Пленник, старик с лицом, исчерченным морщинами-канавами, тащил на спине медный таз и глухо хихикал.

Вдруг Святая Святых дохнула жаром. Огонь был не величественным, а каким-то суетливым, грязным. Пламя облизывало занавеси, и они опадали серыми, вонючими лоскутами. В воздухе летали перья, пепел и обрывки свитков, похожие на дохлых мотыльков.

Начался исход. Длинная, ломаная кишка из людей потянулась к востоку. Пленников гнали, как скот, подталкивая тупыми концами копий в спины, покрытые язвами и пылью. Какой-то вавилонянин с лоснящимися завитыми бакенбардами, задыхаясь от кашля, пытался играть на захваченной лире, но струны только жалобно и фальшиво взвизгивали.

— На реках Вавилонских, — просипел кто-то в хвосте колонны, — там сидели мы и... и что? И ничего. Жрать охота.

Город позади оседал серой гнилью. Великая драма начиналась не с криков отчаяния, а с хлюпанья сандалий по жирной грязи, перемешанной с кровью и пеплом, и с абсурдного чувства, что Бог просто отвернулся, чтобы почесать затылок.

Пир Валтасара и «Слова на стене»

12 октября 539 г. до н. э.

В ночь падения Вавилона на стене дворца появилась огненная рука, начертавшая: «Мене, мене, текел, упарсин». Момент высшего мистического пафоса, предсказавший гибель величайшей империи древности за часы до штурма.

В зале пахло не праздником, а прокисшим жиром, застарелым потом и мочой — кто-то из придворных не добежал до нужника, да так и заснул в углу под грудой парчи. Стены потели. По низким сводам Вавилона полз тяжелый, маслянистый дым от факелов, который не уходил наружу, а оседал на лицах липкой сажой.

Валтасар, с лицом цвета сырого теста, ковырял в зубах золотой иглой. Его челюсть едва двигалась — мешал огромный, в два кулака, кусок недожеванной ослятины, застрявший в щеке. Он не пил вино, он вливал его в себя, как в сточную канаву, и темно-красная струйка стекала по бороде, путаясь в фальшивых локонах и жемчужных нитях.

— Еще... — прохрипел он, толкая ногой раба с перебитым носом.

Раб споткнулся о чье-то тело, выронил кубок из Иерусалимского храма. Тот со звоном покатился по грязным плитам, собирая на себя объедки и харкату. Где-то в глубине залы истошно визжала обезьяна, привязанная к ножке стола. Ее кормили острой горчицей ради забавы, и теперь животное судорожно испражнялось прямо на сандалии вельможи, который, впрочем, ничего не замечал, самозабвенно ковыряя пальцем в гноящемся ухе.

И тут воздух стал густым, как кисель. Звуки не смолкли, нет — они стали плоскими, картонными.

Из стены, прямо над щербатым выступом, где скопилась вековая пыль, высунулась рука. Она не была божественной в привычном смысле — серая, морщинистая, с обломанными, грязными ногтями, как у трупа, которого слишком рано вырыли из земли. Рука не дрожала. Она медленно, с каким-то омерзительным скрипом, начала царапать по известке.

Мене...

Валтасар икнул. Из его ноздри вылезла тонкая струйка крови.

Мене, текел...

Буквы не сияли — они прогорали в камне, распространяя запах паленой кости и тухлятины. Вокруг воцарился хаос, но не величественный, а суетливый, мелкий. Кто-то упал в рвотные массы, пытаясь рассмотреть надпись; евнух с трясущимися щеками начал заикаться, выплевывая куски непереваренной маслины.

Упарсин.

Рука исчезла так же буднично, как появилась, оставив после себя лишь пятно копоти.

— Даниила... ведите... — выдохнул царь, чувствуя, как внутри него что-то окончательно лопнуло.

А в это время снаружи, в густом тумане у Евфрата, персы уже входили в город. Они шли молча, по колено в жидкой грязи, обходя перевернутые корзины с мусором и трупы собак. Империя не рушилась с грохотом — она просто оседала, как старый сарай, под собственной тяжестью и зловонием, в то время как во дворце Даниил, брезгливо приподняв подол грязного плаща, объяснял полумертвому царю, что его жизнь взвешена и признана слишком легкой. Даже легче, чем та вонючая обезьяна под столом.

Вступление Кира Великого в Вавилон

29 октября 539 г. до н. э.

Завоеватель вошел в величайший город мира без боя, провозгласив первую в истории «Декларацию прав человека» (Цилиндр Кира). Момент рождения концепции веротерпимости и имперского милосердия.

Воздух Вавилона был тяжелым, как мокрая овчина. Он не тек, а стоял, зажатый между глазурированными кирпичами ворот Иштар, густой от испарений нечистот, пережаренного кунжутного масла и предсмертной икоты истории. Повсюду висела серая взвесь: то ли пыль из-под копыт конницы нисаев, то ли пепел сожженных где-то на окраине старых указов.

Кир ехал на низкорослой лошади, чья морда была вся в белой пене, похожей на плевков эпилептика. Царь щурился. На его щеке багровел свежий чирей, заботливо присыпанный толченым жемчугом. Вокруг хлюпало, чавкало и воняло. Величайший город мира встречал освободителя не криками восторга, а утробным рычанием кишок и звоном пустых мисок.

У подножия зиккурата какой-то юродивый в рваном льне истошно пытался выковырять из зубов кусок тухлой рыбы, не обращая внимания на проходящую мимо кованую медь персидских панцирей. Рядом, в жирной колее, оставленной боевой колесницей, барахтался безногий ветеран Набонида; он бессмысленно тыкал обрубок в сторону неба, где среди мутных облаков застряло холодное, равнодушное солнце.

— Всем... — прохрипел Кир, не оборачиваясь. Голос его тонул в чавканье грязи. — Всем сказать. Чтобы богов не трогали. Пускай молятся хоть навозному жуку.

Писец, семенящий слева, едва не поскользнулся на раздутой туше дохлого пса. Он судорожно прижимал к груди глиняный валик — еще сырой, липкий, пахнувший речным илом. На нем, среди клинописных зазубрин, рождалось милосердие.

— Иудеев... — Царь поморщился от резкой боли в боку. — Пускай убираются. В свой Иерусалим. Кирпичи пускай забирают. Нам здесь тесно. Дышать нечем.

Старый жрец Мардука, стоявший у обочины, вдруг закашлялся, выплевывая густую черную мокроту прямо на копыта царского коня. Никто его не ударил. Гвардейцы-бессмертные с лицами, похожими на застывшие маски из серого воска, смотрели мимо, в пустоту. Им было скучно. Завоевание без резни отдавало кислым вином и затянувшимся похмельем.

Город задыхался. Стены, покрытые изображениями синих грифонов, казались липкими от пота. Где-то в переулке истошно завизжал поросенок, и этот звук переплелся со звоном золотых браслетов на запястье деспота.

Мир изменился, но пах так же, как и вчера — невымытым телом и старым страхом. Гуманизм входил в Вавилон, спотыкаясь о нечистоты и бережно неся свою первую декларацию, запечатленную на куске грязи, который через час должен был окончательно засохнуть в этой душной, абсурдной тишине.

Смерть царя Кира Великого в битве с массагетами

Лето 530 г. до н. э.

По легенде, царица Томирис велела окунуть голову поверженного «властелина Азии» в мех с кровью, сказав: «Ты жаждал крови, так пей ее досыта!». Финал первого великого завоевателя древности.

Пыль здесь не летает — она висит жирным, серым киселем, перемешанная с вонью немывших тел, прогорклого конского пота и парного навоза. Степь не имеет горизонта; она схлопывается до расстояния вытянутой руки, где чья-то грязная пятка мелькает в прорехе рваного халата, а тяжелое копыто вминает в солончак обрывок человеческого уха.

Кир, властелин Азии, сидит в седле неловко, как куль с мокрой мукой. Борода его, когда-то завитая кольцо к кольцу, слиплась от засохшей сукровицы и превратилась в неопрятный веник. Он кашляет — долго, с присвистом, выплевывая на расшитый золотом воротник серые ошметки легких. Рядом какой-то беззубый старик в островерхой шапке безуспешно пытается разжечь костер из сырого кустарника; дым ест глаза, вышибая слезу, которая прокладывает чистую дорожку по черной от гари щеке царя.

— Жажда, — хрипит Кир, обращаясь к крупу лошади.

Лошадь в ответ шумно испражняется.

Вокруг копошится абсурдная свалка. Раненый бессмертный, запутавшись в собственных кишках, как в рыболовной сети, пытается поползти до лужи, но на него наступает осел, груженный какими-то медными тазами. Тазы валятся с грохотом, перекрывающим предсмертный хрип. Массагеты пахнут кислым молоком и застарелым гневом. Они не кричат победных кличей — они методично, с чавканьем, обдирают сапоги с еще живых персов.

Томирис появляется не как богиня, а как усталая мясничиха после долгой смены. У нее опухшее лицо и красные от бессонницы глаза. Она спотыкается о перевернутый щит, ругается густым, мужским басом и вытирает ладони о подол, на котором бурыми пятнами цветет вчерашняя трапеза.

Когда голову Кира отделяют от туловища, звучит не торжественная медь, а сухой хруст перерезаемого хряща, похожий на звук разламываемой черствой лепешки. Голова падает в грязь, подпрыгивает и замирает, глядя одним стеклянным глазом на копошащуюся в пыли навозную муху.

Притаскивают кожаный мех. Он раздутый, склизкий, из него сочится густая, почти черная жижа, в которой плавают мусор и чьи-то зубы. Томирис берет голову за остатки волос — те вырываются с корнем, она ворчит и перехватывает поудобнее, за скулы.

— Наелся, благодетель? — спрашивает она и с натугой запихивает лицо царя в узкое горлышко меха.

Раздается чмокающий звук. Кровь брызжет ей на предплечья, смешиваясь с грязью. Томирис держит голову в жиже долго, с каким-то скучающим усердием, пока пузырьки воздуха не перестают выходить на поверхность. Вокруг кто-то хохочет дурным, срывающимся голосом, кто-то пытается починить сломанную телегу, а над всей этой великой империей, обратившейся в мусорную кучу, низко летит тяжелый ворон, задевая крылом верхушки копий.

Царь пьет. Ему наконец-то не нужно никуда спешить.

Просветление Будды Шакьямуни

Полнолуние мая 528 г. до н. э.

Сиддхартха Гаутама сел под деревом Бодхи и поклялся не вставать, пока не познает истину. Момент рождения одной из мировых религий.

Воздух в Магадхе закип, превратившись в густой серый кисель. Он пахнет не лотосами, а коровьей мочой, гнилыми корнями и немытым телом человека, который слишком долго пытался переспорить смерть.

Сиддхартха Гаутама втиснул костлявый зад в узловатые корни смоковницы. Дерево огромное, лопающееся от собственного сока, сочащееся липким млечным дегтем прямо на темя бывшему царевичу. Он не сидит в позе лотоса — он врос в грязь, как старый пенёк. Ребра выпирают сквозь серую кожу, словно обручи прогнившей бочки. По лицу ползет жирная муха, застревает в капле пота, но Сиддхартха не моргает. Он поклялся.

Вокруг копошится мир, лишенный логики и чистоты. Мимо, в тумане, похожем на пар от навозной кучи, бредут тени. Какой-то юродивый с облезлым псом тащит за собой связку гнилых бамбуковых палок, задевает ими плечо Сиддхартхи, бормочет: «Смердит, господин, ох, как смердит...».

Из кустов доносится чавканье и невнятная брань — это Мара приводит свое воинство. Но это не эпические демоны, а нелепая толпа калек, пузатых карликов и баб с отвисшими грудями, которые трясут перед лицом Гаутамы сырым мясом и выливают под дерево помои.

— Истины захотел? — шепелявит Мара, почесывая волосатое ухо. — Истина — это когда зубы не болят. А они у тебя болят, Сиддхартха. Гниют.

Гаутама молчит. В его ухе застрял сухой лист, в бороде запутался жук-навозник. Небо над ним наливается тяжелым, сумеречным свинцом полнолуния. Свет луны не серебристый, он грязный, как засаленная простыня. В какой-то момент кажется, что все вокруг — это бесконечная, душная комната, где потолок слишком низок, а пол завален скользкими потрохами бытия.

Вдруг в мозгу Гаутамы что-то щелкает. Без труб и небесного сияния. Просто понимание того, что эта вся грязь, этот запах падали, эта слюна на подбородке Мары — и есть та же самая пустота, что и холод звезд. Он видит цепь причин, похожую на ржавую цепь в колодце: один ляг тянет за собой другой.

Он смеется. Хрипло, с клочкотанием в горле, выплевывая густую слюну на корни Бодхи.

Мир не взорвался светом. Просто Мара вдруг стал маленьким, суетливым человечком, который обиженно спрятал за пазуху дохлую курицу и растворился в тумане. Гаутама пошевелил затекшими пальцами ног. Грязь между ними была теплой. Колесо повернулось с противным скрипом несмазанной оси.

Родилась религия. В Магадхе все так же пахло навозом, но теперь это не имело никакого значения.

Первая проповедь Будды в Оленьем парке

Около 528 г. до н. э.

Сиддхартха Гаутама впервые изложил «Четыре благородные истины». Момент рождения философии, которая охватит половину мира, провозгласив победу над страданием через разум.

Воздух в Сарнатхе стоял такой густой и сальный, что его, казалось, можно было резать зубчатым клинком. Туман, перемешанный с копотью от ритуальных костров, лип к лицам, оставляя серые потеки. Олени, облезлые, с гноящимися глазами, шарахались от кустов, за которыми кто-то надсадно и долго испражнялся.

Пятеро аскетов сидели в грязи. У одного на шее вздулся огромный зоб, похожий на перезрелый плод манго; другой беспрестанно чесал лишай на голени, обгрызая ногти. Они ждали, хотя сами не знали чего. В этой сырой тесноте даже тишина казалась зловонной.

Появился Он. Не сияющий бог, а костлявая фигура в выцветшей рыжей ветоши, на подоле которой запеклась чья-то бурая кровь или просто дорожная нечистота. Гаутама шел медленно, наступая босыми ногами в жижу, где копошились белесые черви. Лицо его, изможденное до состояния пергамента, натянутого на череп, не выражало ничего, кроме бесконечной, ледяной усталости.

— Проснись, дурак, — прохрипел тот, что с зобом, толкая соседа в бок. — Пришел.

Гаутама остановился. Рядом, в канаве, забитой гнилой соломой, копошилась свинья, пытаясь вытащить застрявшее копыто. Звук хлюпающей грязи сопровождал его первым словом. Он не вещал — он цедил слова, словно сплевывал горькую желчь.

— Жизнь — это вонь, — произнес он, и голос его сорвался на сухой кашель. — Страдание. Рождаешься в слизи, подышаешь в судорогах. Видишь это? — он указал длинным, грязным пальцем на оленя, который безуспешно пытался жевать окровавленную тряпку. — Это истина. Первая.

Аскеты подались вперед. У одного из носа вытекла капля и повисла на редкой бороде.

— Отчего вонь? Оттого, что хочешь сладкого, когда во рту горько. Хватаешься за пустоту, как утопленник за корягу. Жажда, — Гаутама криво усмехнулся, обнажив желтые зубы. — Вторая истина. Хочешь жить — будешь гнить.

Где-то за спинами завывала собака — долго, с надрывом, переходя на человеческий скулеж. В кустах послышался глухой удар и чье-то невнятное ругательство. Мир вокруг сжимался, задыхаясь в собственной плоти.

— Можно ли не вонять? — Гаутама посмотрел сквозь них, в серую муть неба. — Можно. Если вырезать из себя это «хочу», как гнилой аппендицит. Третья истина. Тишина. Пустота. Никаких больше оленей, никакой грязи.

Он замолчал. Пятеро смотрели на него, и в их глазах плескалось тупое, животное непонимание, смешанное с ужасом узнавания. Четвертую истину — о Пути — он произнес уже шепотом, почти не разжимая губ, пока какой-то юродивый неподалеку громко и ритмично бился головой о ствол дерева.

Гаутама развернулся и побрел прочь, в самую гущу тумана, где уже не разобрать было, где человек, а где куча тряпья. Философия победы над миром началась с хрипа в горле и запаха нечистот, в месте, где разум был единственным чистым местом в океане дерьма.

Пифагорейская школа

510 г. до н. э.

Момент, когда Пифагор заявил: «Все есть число». Это рождение мистической математики. Пафос в том, что музыка, звезды и человеческая душа подчинены одним и тем же гармоническим законам.

Кротон задышался в жирном, сером тумане. Воздух, густой, как несвежий кисель, пах гнилой рыбой, прогорклым маслом и немытыми телами послушников. В узком коридоре школы, где стены сочились холодной испариной, толпились люди в серых хитонах. Кто-то икал, монотонно и безнадежно; где-то в углу истошно визжал поросенок, запутавшийся в полах грязной ткани.

Пифагор сидел на низком табурете, утопая в полумраке. Его лицо, изборожденное морщинами, напоминало высохшую корку хлеба. Он ковырял в ухе обломком стилуса. Рядом, на щербатом столе, лежала обглоданная кость и медный монохорд с единственной струной, засаленной от бесконечных прикосновений.

— Учитель, — просипел кто-то из темноты, обдавая его запахом чеснока. — А как же душа? Она ведь... эфемерна?

Пифагор медленно поднял взгляд. У его ног, в луже неопределенного происхождения, копошился жук. Старик внезапно хохотнул — сухим, лающим смешком, перешедшим в затяжной кашель. Он сплюнул вязкую мокроту прямо на медную пластину с выбитыми цифрами.

— Все есть число, — прохрипел он, и голос его прозвучал как скрежет ржавой пилы по камню. — Слышишь, дурак?

Он дернул струну монохорда. Дребезжащий, неприятный звук разрезал липкую тишину.

— Струна — это два к трем. Планета в черном небе, когда ты гадишь под оливой — это семь к восьми. Твоя душа, скулящая от страха перед Аидом — это просто соотношение длин костей в твоём тазу и частоты твоего подлого пульса.

Он схватил за шиворот ближайшего ученика, притянул его к своему лицу, так что их носы почти соприкоснулись. Глаза Пифагора, затянутые белесой катарактой, полыхнули безумным торжеством.

— Музыка сфер — это не пение сирен, это грохот шестеренок в плохо смазанной мясной лавке богов! Звезды воняют жженой серой, но они подчиняются дробям. Мы все заперты в этой арифметической клетке. Один, два, три, четыре... Считай, пока не сдохнешь!

Снаружи, во дворе, кто-то свалился в чан с нечистотами, послышались глухие удары и мерная, заунывная брань. Пифагор снова дернул струну. Звук был идеально чистым и бесконечно чуждым этому грязному, хлюпающему миру.

— Все есть число, — повторил он тише, и в этом шепоте было больше ужаса, чем в криках истязаемых. — Гармония — это петля, которая затягивается на горле хаоса.

Он снова принялся ковырять в ухе, глядя в пустоту, где среди нечистот и тумана медленно проступали безупречные, ледяные геометрические фигуры. В углу кто-то тихо стонал от холода и непонимания.

Подвиг Муция Сцеволы

Около 509 г. до н. э.

Римлянин прокрался в лагерь врага, чтобы убить царя, но ошибся. Попадись, он положил свою правую руку в огонь жаровни и держал ее там, не издав ни звука, чтобы показать пренебрежение к боли. Пафос стальной воли, заставивший врагов отступить от Рима.

Грязь была повсюду — жирная, перемешанная с конским навозом и костями недоеденных косуль. Гай Муций полз через лагерь этрусков, вжимаясь в эту жижу. Вокруг хрипели, сморкались и чавкали. Где-то в тумане, густом, как несвежий кисель, блеяла коза, и этот звук перекрывался пьяным хохотом наемников. Воздух застыл, пропитанный вонью невымытых тел и паленой шерсти.

Он увидел золото. Много золота на тунике человека, сидевшего за столом. Муций выхватил кинжал и ударил — резко, в горло. Человек забулькал, засучил ногами, опрокинул кувшин с кислым вином. Лишь когда тяжелые руки солдат придавили Муция к земле, выяснилось: убит был всего лишь писец, разряженный роскошно по воле случая или глупости. Настоящий Порсена, одутловатый, с красными прожилками на щеках, сидел чуть поодаль и меланхолично ковырял в зубах рыбьей костью.

— Кто это? — спросил царь, не глядя на пленника. Голос его был глухим, словно из бочки.

Муция подтащили к жаровне. Угли в ней дышали тусклым, ядовитым жаром. Вокруг копошились какие-то люди: кто-то тащил ведро с требухой, кто-то чесался, не обращая внимания на происходящее. Абсурдность момента сдавливала виски.

— Я римлянин, — выплюнул Муций вместе с кровью и куском налипшей грязи. — Нас три сотни таких. Мы стоим в очереди за твоей жизнью, жирный боров.

Он не стал ждать пытки. Он сам протянул правую руку — ту, что промахнулась — прямо в центр раскаленного крошева.

Раздалось шипение. Сначала повалил белый пар, потом запахло горелым мясом, тошнотворно-сладким, как на бойне. Муций смотрел в пространство пустыми глазами. Лицо его оставалось неподвижным, лишь на лбу вздулась вена, похожая на извивающегося червя. Пальцы на глазах превращались в черные, скрюченные угли. Рядом кто-то громко высморкался в подол, а за пологом палатки продолжала истошно орать коза.

Порсена застыл с открытым ртом. Кость выпала из его пальцев. В этой тишине, нарушаемой лишь треском сгорающей плоти, возникло ощущение абсолютного, беспросветного тупика. Если этот человек, стоящий в чужом дерьме, так легко отдает себя огню, то стены его города стоят не на камне, а на чем-то, что нельзя проткнуть мечом.

— Пошел вон, — хриплым шепотом произнес царь, брезгливо отворачиваясь. — Уходите отсюда все. В этом месте нет воздуха.

Муций вытащил из огня то, что осталось от кисти. Обугленный обрубок дымился. Он развернулся и побрел прочь, задевая плечом солдат, которые шарахались от него, как от зачумленного. Впереди, в сером мареве, маячили башни Рима — такие же грязные, холодные и равнодушные к его боли.

Возникновение демократии в Афинах

508—507 год до н. э.

Клисфен вводит реформы. Момент, когда власть перестала быть делом богов или царей и стала делом граждан. Пафос свободного голоса, который может определить судьбу государства.

В Афинах стояла кислая, густая гарь. Пахло паленой шерстью, непросохшей кожей и кишками, которые кто-то — то ли раб, то ли зазевавшийся жрец — выплеснул прямо под ноги толпе. Небо, низкое и засаленное, как старый плащ тирана, давило на Пникс — голый, обглоданный ветрами холм. Там не было тени портиков, только серая кость земли под ногами и небосвод, который здесь казался устрашающим.

Клисфен шел через месиво тел. Он был в грязном хитоне, с которого свисала нитка серой слизи — возможно, улитка, а может, плевок судьбы. Вокруг копошились граждане. Они не были похожи на мраморных истуканов: один ковырял в гнилом зубе обломком оливковой ветви, другой, впав в икоту, пытался удержать на плече корзину с дохлой рыбой.

— Чихали мы на Писистратидов, — прохрипел кто-то в самое ухо Клисфену, обдав его запахом чеснока и застарелого перегара. — Боги потели, боги ушли. Теперь мы тут... в навозе-то.

Клисфен не ответил. Он протискивался сквозь липкую массу локтей и спин. В центре пространства стоял камень. Не алтарь, нет — просто неровная глыба, измазанная птичьим пометом. Раньше здесь ждали знамений: полета коршуна или треска костей в костре. Теперь на камне лежал черепок. Обычный, битый, со следами дешевого вина.

— Ну! — крикнул Клисфен, и его голос сорвался на петушиный фальцет, утонув в общем чавканье и кашле. — Ты, с рыбой! И ты, плешивый! Бросайте!

Толпа забурилась. Это не было торжественным шествием. Это было копошение червей в открытой ране истории. Люди толкались, ругались, какой-то старик впал в падучую прямо у подножия трибуны, и на него немедленно наступили.

Власть больше не сходила молнией с Олимпа. Она пахла потом этих немых мужиков, которые суетливо выводили гвоздями имя того, кого мечтали видеть в изгнании. Каждый выдох, каждый хрип теперь весил больше, чем золотая колесница Зевса.

— Голосую, — прошамкал беззубый кожевник, роняя черепок в общую кучу. — Чтобы этот, как его... Исагор... шел к псам. Или в Элевсин. Пущай там святость разводит.

Черепки бились друг о друга с сухим, костяным звуком. Это был звук распадающегося старого мира. В этом хаосе, среди чахоточного кашля и криков ослов, рождалось нечто чудовищное и великое. Свобода не имела лица — у нее была только грязная рука, сжимающая кусок обожженной глины.

Клисфен посмотрел на свои ладони. Они были в саже. Он вытер их о бедро и вдруг коротко, по-собачьи залаял от абсурдности момента. Никаких богов. Только эти рожи, эта жижа под ногами и страшная, гнетущая тишина, наступившая на секунду, когда последний черепок упал в корзину.

Государство теперь принадлежало им — вшам, поэтам и мясникам. И это было страшнее любой тирании.

Смерть Лао-цзы

VI — V вв. до н. э.

По легенде, мудрец, разочаровавшись в обществе, уехал на запад на зеленом быке. На границе он оставил стражнику рукопись «Дао Дэ Цзин» и исчез навсегда. Высший нафос ухода философа в вечность.

Сырая известь текла по стенам заставы Ханьгу, смешиваясь с копотью низких светильников. Воздух в тесном проходе был густым, как прогорклый жир; он пах мочой, мокрой шерстью и переваренным просом. Где-то в углу истошно визжал недорезанный поросенок, и этот звук перекрывал хриплое дыхание стражника Инь Си.

Стражник был заплывшим, потным, в криво застегнутом панцире, из-под которого торчала грязная пакля. Он ковырял в ухе обломком бамбуковой щепы и тупо пялился на то, что вползало в ворота.

Зеленый бык — огромный, с обвисшим, лишайным боком и мутными глазами — тяжело переставлял копыта по раскисшей жиже. Животное испускало зловонный пар. На его хребте, едва не задевая низкую притолоку седой головой, сидел Старик.

Это был Лао-цзы. Он не походил на святого. Его борода, свалившаяся в колтуны, была заляпана дорожной грязью и остатками какой-то слизи. Он беспрестанно жевал беззубыми деснами, выплевывая темную слюну прямо на загривок быка. Грязь на его халате превратилась в твердую корку, которая трещала при каждом движении.

— Куда прешь, дед? — Инь Си сплюнул под ноги быку, едва не задев копыто. — На запад только волки дохлые бегают. Там камни и пустота.

Старик не ответил. Он медленно, с хрустом в суставах, полез в пазуху. Его пальцы, похожие на обглоданные коренья, долго шарили в тряпье, пока не выудили пачку бамбуковых планок, связанных засаленной бечевкой. На планках, среди пятен жира и плесени, теснились корявые знаки.

— На, — прошамкал Старик. Голос его был похож на шелест сухой шелухи в пустом амбаре. — Тут про Путь. Который не путь. И про имя. Которое не имя.

Инь Си принял связку, брезгливо поморщившись. Он поднес рукопись к носу, принюхался и вдруг коротко гоготнул, обнажив гнилые зубы.

— «Дао Дэ Цзин», значит? Понятно. А на растопку пойдет? У нас дрова сырые, совсем не горят, собачий холод.

Старик посмотрел на него. В его зрачках, подернутых бельмом, отразилась вся нелепость этого тесного мира: и визжащий поросенок, и гнилая солома, и бессмысленная жестокость каждого вдоха. Он вдруг икнул, дернул углом рта в подобии улыбки и ударил быка пятками по облезлым бокам.

Зверь глухо замычал и двинулся в густой, серый туман, который стоял за воротами плотной стеной. Там не было горизонта — только вязкое, белесое ничто, пожирающее звуки.

Инь Си еще долго стоял, почесывая волосатый живот через дыру в доспехах. Он смотрел, как хвост быка растворяется в мареве. Потом он бросил рукопись в кучу навоза, повернулся и пошел допивать прокисшее вино, спотыкаясь о спящих вповалку солдат.

Мир остался прежним: тесным, вонючим и абсолютно безнадежным. А Старик ушел туда, где не нужно было быть человеком.

Марафонская битва

12 сентября 490 г. до н. э.

Победа греков над персами. Легендарный бег гонца Фидиппида в Афины, который, выкрикнув «Радуйтесь, мы победили!», пал замертво. Рождение легенды о марафонском беге и спасение европейской демократии.

Грязь перемешана с соленой пеной и требухой. После ливня под ногами хлупает — не то Марафонская долина, не то сточная канава богов. Небо висит низко, серое, как старый панцирь, и из него сыплется мелкая, едкая дрянь.

Кто-то истошно орет за спиной, захлебываясь рвотой. Мимо проносят щит, на котором колыхнется нечто бесформенное, еще недавно бывшее гоплитом. Пыль, пот, запах чеснока и гниющих водорослей. Мильтиад, дергая щекой, пытается вытереть заляпанное лицо подолом грязного хитона, но только размазывает бурую жижу. У него во рту не хватает зубов, и он шепеляво материт персов, которые лезут со всех сторон, как мокрицы из щелей старой бани.

Персидские стрелы свистят вяло, вязнут в тяжелом, липком воздухе. Вот один из них — в шелках, в золоте, — валится в прибрежную тину, пуская пузыри. Смешно. Его топчут сандалиями, методично и скучно вминая в историю. Никакого пафоса, только тяжелое дыхание тысячи мужиков, от которых воняет кислым вином и застарелым страхом.

— Беги, — шепчет Мильтиад, толкая в грудь Фидиппида.

Фидиппид нескладен. У него длинный нос, одно ухо надорвано, а на бедре — незаживающая язва, к которой прилипла муха. Он смотрит тупо, облизав пересохшие губы. В руках он сжимает обломок копья, словно это единственная опора в этом шатающемся мире.

Он бежит.

Земля под ним — кисель. Кусты царапают голые ноги, оставляя багровые полосы. Мимо проплывают перекошенные лица крестьян, какая-то старуха тащит дохлую козу, кто-то справляет нужду у дороги, равнодушно глядя на спасителя цивилизации. Воздух в горле превращается в битое стекло. Сердце колотится о ребра, как пойманная крыса в жестяном ведре.

Афины встречают его не белым мрамором, а кривыми переулками, сором и лаем плешивых собак. Город задыхается в ожидании резни. На площади — толчея. Кто-то тащит баул с утварью, кто-то дерется из-за куска лепешки. Демократия пахнет немытыми телами и прогорклым маслом.

Фидиппид вваливается в круг старейшин. Они смотрят на него с подозрением, один ковыряет в ухе мизинцем. Гонец открывает рот, и вместо божественного гласа оттуда вырывается хрип, похожий на звук разрываемой холстины. Его лицо становится цвета баклажана.

— Радуйтешь... — шепелявит он, выплевывая кровавую пену прямо на сандалию главного архонта. — Мы... это... победили.

Он валится ничком. Нос хрустит о камень. Толпа на мгновение затихает, глядя на дергающуюся ногу гонца, а потом снова начинает орать, толкаться и делить воображаемую добычу. Над Акрополем зависла тяжелая туча, и пошел дождь, смывая грязь с мертвого лица человека, который только что спас Европу, даже не поняв, зачем он это сделал.

«Наказание моря» Ксерксом I

Весна 480 г. до н. э.

Персидский царь строил понтонный мост через пролив Геллеспонт, чтобы вторгнуться в Грецию, но буря разрушила переправу. Разгневанный Ксеркс приказал высечь море плетью (300 ударов) и опустить в воду оковы, чтобы «пленить» стихию. Пик деспотического безумия и имперского самомнения. Человек всерьез пытался диктовать свою волю морской стихии, демонстрируя, что для «Царя царей» нет преград даже в законах природы.

Хлябь Геллеспонта имела вкус ржавчины и гнилой рыбы. Небо, низкое, как потолок в пыточной, набухло свинцом и неохотно цедило серую морось, перемешанную с солью. У берега, в густом месиве из щепок, обрывков канатов и раздутых конских туш, копошились люди. Они походили на насекомых, завязших в дегте.

Ксеркс стоял на глинистом уступе. Его парчовое облачение намокло, отяжелело и теперь воняло мокрой верблюжьей шерстью. Царь не смотрел на горизонт — горизонта не было, была лишь мутная мгла. Он смотрел под ноги, где в жирной пене бились остатки понтонов, которые еще вчера должны были стать спиной его империи.

— Горькая... — просипел он, сплевывая вязкую слюну. — Слишком горькая.

Вокруг суежилась свита. Кто-то задыхался от астматического кашля, кто-то вполголоса переругивался, ковыряя в ухе костяной палочкой. Карлик в шутовском колпаке пытался поймать ртом капли дождя, но только давился и икал. Грязь была везде: на золотых обручах, в складках царской бороды, в открытых язвах рабов.

— Бейте ее, — прохрипел Ксеркс. Голос его тонул в чавканье прибоя. — Слышите? Выпороть эту суку.

Палачи, голые по пояс и красные от соли, шагнули в воду. Вода не расступилась — она хлюпнула, принимая их в свои нечистоты. В руках они сжимали бичи, утяжеленные свинцовыми грузилами.

Свистнул первый удар. По воде пошла мелкая рябь, тут же поглощенная очередной волной.

— Раз! — гаркнул надсмотрщик, у которого из носа текла тонкая струйка слизи.

— О ты, горькая вода! — заголосили палачи, срывая глотки. — Так наказывает тебя твой владыка!

Удары посыпались градом. Это было нелепо и страшно. Люди исступленно пороли море, словно забивали насмерть строптивую кобылу в тесном стойле. Брызги летели в лица, смешиваясь с потом и гноем. В воду с глухим всплеском рухнули тяжелые железные оковы — ржавые кольца медленно погружались в ил, пытаясь «пленить» то, что не имеет формы.

Ксеркс наблюдал, как железные звенья исчезают в мути. Его лицо, нечеловеческое от бессилия и потекшей сурьмы, дергалось в мелком тике. Он верил. Он искренне верил, что сейчас бездна содрогнется, извинится и застынет в рабском поклоне.

А море продолжало выплевывать на берегдохлых медуз и щепки. Пахло мочой и вечностью. Рядом кто-то громко испражнялся в прибрежный песок, не снимая промокших шаровар. Деспотия задыхалась в собственном пару, пытаясь высечь стихию, которая даже не замечала присутствия «Царя царей» в этой серой, хлюпающей бесконечности.

— Еще триста, — просипел Ксеркс, утираясь краем бесценного, изгвазданного в тине плаща. — И пусть в глаза ей плюют. Всем войском.

Битва при Фермопилах

Сентябрь 480 г. до н. э.

Подвиг 300 спартанцев и царя Леонида. Символ героического самопожертвования и стойкости перед лицом превосходящих сил врага.

Ущелье смердит мокрой кожей, прогорклым жиром и тухлыми яйцами — это кипят горячие ключи, выплевывая серную желчь прямо под ноги воинам. Небо над Фермопилами — цвета застиранной мешковины. Здесь нет величия, есть только теснота и липкая, чавкающая под сандалиями жижа из морской пены, ослиной мочи и раздавленных моллюсков.

Царь Леонид, грузный мужчина с серым лицом и застрявшей в бороде крошкой черствого хлеба, ковыряет в ухе обломком стрелы. У него болят зубы. Он сплевывает густую, темную кровь в дорожную пыль и долго смотрит, как ее облепляют жирные, сонные мухи.

— Принесите еще уксуса, — сипит он, не оборачиваясь. — От персов несет жасмином и несвежей бараниной. Тошнит.

Спартанцы копошатся в тумане, как жуки в навозной куче. Кто-то долго и мучительно кашляет, выплевывая легкие на шерabatый камень стены. Кто-то пытается отчистить щит от присохшего конского навоза, но только размазывает его, бессмысленно и зло. Лица у всех одинаковые — землистые, изборожденные глубокими морщинами, в которых навечно засела копоть от погребальных костров.

Из мглы выплывает гонец — нелепое существо с длинным носом и трясущимися руками. Он заикается, путаясь в полах грязного хитона.

— Их... их столько, что стрелы закроют солнце, — бормочет он, косясь на пролетающую мимо чайку.

Леонид медленно поворачивает голову. На его щеке алеет свежая ссадина, похожая на карту неизвестного острова.

— В тени будет не так потеть задница, — бросает он и вдруг начинает мелко, сухо смеяться, переходя в удушливый хрип.

Персы наваливаются беззвучно, как вата. Слышно только железный скрежет, чье-то тяжелое сопение и чавкающий звук металла, входящего в рыхлую человеческую плоть. В узком проходе воняет немытыми телами и страхом. Какой-то спартанец, с распоротым животом, пытается засунуть кишки обратно, сосредоточенно, словно укладывает вещи в дорожный мешок, и что-то бормочет про недоенную козу в Лаконии.

В какой-то момент все превращается в бессмысленную мешанину локтей, бород и сломанных копий. Леонид сидит на камне, жевательный мускул на его лице дергается в такт ударам. Мимо проносят чью-то отрубленную голову; она выглядит удивленной, рот разинут, ловя серый воздух Фермопил.

Дождь смешивается с потом. Грязь становится красной, а пар от горячих источников окутывает живых и мертвых едким саваном. Никто не смотрит в вечность — все смотрят под ноги, чтобы не поскользнуться на чьей-то печени.

Саламинское сражение

28 сентября 480 г. до н. э.

Греческий флот Фемистокла заманил огромную армаду персов в узкий пролив. Персидский царь Ксеркс наблюдал за гибелью своего флота с золотого трона на берегу. Момент, когда античная Европа отстаивала свое право на существование.

Соленая жижа мешалась с мочой и прогорклым жиром. Над проливом висел не туман, а тяжелый кисель из испарений потных тел, гниющей рыбы и чесночного перегара гребцов. Здесь, в тесноте Саламина, море перестало быть стихией — оно стало тесной коммунальной кухней, где все друг у друга на головах.

Флагманская триера чавкала по воде, зарываясь носом в чье-то раздутое чрево. С палубы доносилось глухое, ритмичное рычание: гребцы внизу, в липкой темноте, были от нехватки воздуха. Фемистокл, с лицом, серым от лишая и бессонницы, жевал черствую маслину, сплевывая косточки в месиво у своих сандалий. Его плащ, когда-то красный, теперь напоминал половую тряпку, пропитанную желчью.

— Тесно, — прохрипел он, не глядя на вестника, у которого из уха ползла жирная муха. — Как в заднице у циклопа. Пусть лезут.

Персы лезли. Огромные золоченые корабли Ксеркса втискивались в узкое горло пролива, как неповоротливые свиньи в узкий загон. Они цеплялись бортами, ломали собственные весла с сухим, костяным хрустом. Слышался мат на десятке наречий, визг тонущих лошадей и плеск нечистот, выливаемых за борт.

А на скале Эгалеос, на безопасном расстоянии, сидел Ксеркс. Его золотой трон стоял в грязи, а рабы махали опахалами, разгоняя запах гари, который все равно долетал до царя. Ксеркс щурился, глядя вниз, где его великая армада превращалась в кашу из щепок и человеческого мяса. Его сандалия замаралась в курином помете — какая-то глупая птица вырвалась из клеток полевой кухни и теперь металась по склону.

Внизу греческая триера с размаху вогнала медный таран в бок финикийского судна. Звук был не героическим — просто мокрый хлопок и скрежет, как будто раздавили огромную гнилую тыкву. В воду посыпались люди в расшитых золотом одеждах, они барахтались в масляной пленке и крови, пытаясь ухватиться за обломки весел, скользкие от слизи.

Один из персидских вельмож, вынырнув, схватился за борт греческого судна. Гоплит в зазубренном шлеме, не меняя выражения лица, методично бил его по пальцам обухом топора, пока пальцы не превратились в розовое крошево.

— Ксеркс смотрит! — крикнул кто-то с кормы, захлебываясь кашлем.

Фемистокл поднял глаза к небу. Там, среди серых туч, кружили жирные чайки, ожидая пира. Он почесал воспаленное паховое кольцо и равнодушно посмотрел на тонущий флагман врага. Европа, вонючая, зудящая и злая, вгрызалась в глотку Востоку просто потому, что здесь было слишком мало места для двоих.

На берегу Ксеркс медленно поднялся. Его трон покосился, одна ножка ушла в мягкую почву. Царь смотрел, как остатки его флота, давя друг друга, пытаются вырваться из ловушки. Ветер донес до него запах жареного мяса — горел корабль с запасами провизии. Царь вытер нос расшитым рукавом и побрел прочь, хлюпая по лужам, а за ним, спотыкаясь, волокли его золотое кресло.

Мир остался прежним: грязным, тесным и абсолютно бессмысленным. Но греческим.

Смерть Конфуция

11 апреля 479 г. до н. э.

Уход учителя, чья философия на 2500 лет определила этику и государственное устройство всего Китая и Восточной Азии.

В Лу стояла липкая, застоявшаяся сырость. Весна не приносила облегчения, лишь гуще замешивала грязь на дорогах Цюйфу. Воздух, тяжелый и серый, казался осязаемым — его можно было жевать, как просяную лепешку, перемешанную с дорожной пылью и гарью из очагов.

Старик лежал на циновке, вросшей в земляной пол. Его борода, когда-то величественная, теперь напоминала клочок нечесаной пакли, испачканной в отварах и собственной слюне. Это был Кун, тот самый, что учил ритуалу и порядку, но сейчас порядок отступал перед властью слизи и распада.

Из угла доносилось хлюпанье: ученик Цзы-гун, суетливый и сопливый, безуспешно пытался раздуть угли в жаровне. Угли шипели, испуская едкий, удушливый дым, который не уходил в проем, а клубился под низким потолком, оседая копотью на свитках.

— Учитель... — прохныкал Цзы-гун, вытирая нос засаленным рукавом. — Гора Тайшань рушится?

Старик приоткрыл один глаз. Белок был залит желтушной мутью. Он хотел сказать о благородном муже, но вместо этого из горла вырвался хриплый, булькающий звук. Где-то за стеной, в тесном дворе, истошно визжала свинья, которую никак не могли зарезать; звуки борьбы, хлюпанье сапог по жиже и грубая ругань врывались в комнату, делая пространство еще теснее, еще невыносимее.

На низком столике стояла чаша с прогорклым жиром. Муха, сонная и жирная, медленно ползла по краю, прежде чем сорваться в липкое месиво. Конфуций смотрел на нее с каким-то отрешенным, ироничным любопытством. Весь мир, выстроенный им на гармонии и сыновней почтительности, сейчас сузился до этой мухи и вонючего тела.

— Никто не берет меня за образец... — выдавил он. Голос звучал как треск сухой коры. — Все гниет. Даже небо... пахнет кислым.

Он попытался поправить халат, соблюдая остатки церемонии, но пальцы, похожие на узловатые корни, не слушались. Ткань зацепилась за зазубрину на лежаке, послышался сухой надрыв. Цзы-гун кинулся помогать, обдав старика запахом несвежего пота и чеснока. В этой близости не было нежности — только физиологическое удушье.

Снаружи мимо дверного проема протащили что-то тяжелое и грязное. Мелькнуло чье-то потное лицо с выпученными глазами, кто-то сплюнул прямо на порог. Ритуал умер раньше учителя. В Поднебесной не осталось чистых мест — только бесконечная переплавка плоти в перегной под присмотром равнодушных звезд.

Старик вздрогнул. Его челюсть отвисла, обнажив редкие желтые зубы. Он замер, уставившись в низкий, закопченный потолок, словно пытался прочесть там последнюю, самую главную гексаграмму, которая объяснила бы, почему путь к мудрости всегда заканчивается в этой тесноте, среди дыма, слюней и визга недорезанной свиньи.

Цзы-гун завыл — тонко, по-собачьи. Муха в чаше наконец перестала дергать лапками. Наступило 11 апреля, и тишина, ворвавшаяся в комнату, была тяжелее, чем вся грязь княжества Лу.

Смерть Эсхила

Около 456 г. до н. э.

Отец греческой трагедии погиб от того, что орел сбросил ему на голову черепаху, перепутав лысину драматурга с камнем. Момент высшего абсурда: величайший мастер трагедии стал жертвой нелепого случая.

Сицилийское небо над Гелой было цвета застиранной холстины, набухшее солью и птичьим пометом. В воздухе стоял густой, почти осязаемый смрад: несло жареной рыбой, гниющими водорослями и застарелым потом рабов, тащивших неподалеку воловью тушу. Грязь под ногами хлюпала, перемешанная с оливковой шелухой и битой черепицей.

Эсхил шел медленно, тяжело переставляя отекие, обмотанные грязными тряпицами ноги. Его серая туника, пятнистая от вина и пыли, липла к лопаткам. Старик тяжело дышал, и каждый его выдох отзывался хрипом в узкой, заваленной хламом улочке, где из оконных проемов свешивались чьи-то мокрые лохмотья. Кто-то невидимый сплюнул сверху, попав прямо в лужу у его сандалий. Где-то за углом истошно визжала свинья, и этот звук ввинчивался в уши, мешаясь с бормотанием самого драматурга.

— Хор... — шамкал он беззубым ртом, — хор должен выйти из жижи. Чтобы подолы были в навозе. Кровь Агамемнона — не пурпур, нет... деготь. Черный деготь на белом мраморе.

Он выбрался на открытый косогор, подальше от тесноты стен, туда, где пахло выжженной травой. Солнце ударило в его голый, лоснящийся череп, как молот по наковальне. Эсхил зажмурился, чувствуя, как по шее бежит капля холодного пота. В вышине, почти в самом белесом мареве, зависла черная точка. Орел. Птица кружила лениво, сжимая в когтях что-то плоское, серое, облепленное тиной.

Старик остановился, задрал подбородок. Его глаза, закисшие и слезящиеся, уставились в зенит. Он выглядел нелепо в этой пустоте: одинокая, облысевшая кость среди выжженного камня.

Орел сложил крылья.

Предмет, выпавший из когтей, падал не по-трагически медленно, а как-то суетливо, вихляя в воздухе. Это была крупная черепаха. Она смешно дрыгала короткими лапами, пытаясь ухватиться за пустоту. Мир на мгновение сузился до звука — свиста рассекаемого воздуха и тяжелого, чавкающего удара.

Панцирь встретился с теменем великого трагика. Раздался сухой хруст, будто раздавили пересохшую тыкву. Эсхил не вскрикнул. Его колени подогнулись, он ткнулся лицом в колючую пыль, а черепаха, еще живая и ошеломленная, медленно поползла прочь по его затылку, оставляя влажный след на обнажившейся кости. Через минуту сдохла и она.

Над трупами закружилась жирная зеленая муха. Где-то в городе снова закричала свинья, и этот крик, лишенный смысла и пафоса, стал единственной эпитафией человеку, который научил мир сострадать богам.

Зарождение атомистической теории

Около 430 г. до н. э.

Демокрит провозглашает, что мир состоит из неделимых частиц — атомов и пустоты. За 2400 лет до микроскопов человеческий разум силой логики «увидел» микромир.

Грязь в Абдерах была особенная — густая, серая, перемешанная с овечьим навозом и раздавленными виноградными выжимками. Она хлопала под сандалиями, липла к подолам засаленных хитонов, лезла в рот вместе с жирной гарью от жертвенных костров.

Демокрит сидел на гнилом бревне у мясной лавки. Мимо протащили дохлую кобылу; туша зацепилась раздутым боком за угол, и двое рабов, обливаясь вонючим потом, тыкали в нее палками, выкрикивая бессмысленные ругательства. Сверху, из узкого окна, кто-то выплеснул помой — рыжая жижа медленно стекала по беленой стене, по пути обрастая мухами.

— Гляди, Глупый, — просипел Демокрит, ткнув костлявым пальцем в сторону кружащейся пыли, пронзенной чахоточным лучом солнца. — Видишь?

Его собеседник, местный юродивый с вечно текущим носом, только икнул, пытаясь поймать вошь под мышкой.

— Нет там ничего, — философ внезапно зашелся сухим, лающим смехом. — И здесь нет. И в тебе, харя немытая, пустоты больше, чем мяса.

Он схватил с земли заветренную лепешку, разломил ее. Крошки посыпались в жижу.

— Режь ее, Глупый. Режь до конца. Ножом, зубами, мыслью. В конце останется то, что укусить нельзя. Крепкое, как кулак титана, и мелкое, как шепот покойника. Атом. А вокруг — чернота. Дыра.

Мимо проковылял старик, волоча за собой связку окровавленных бараньих кишок. За ним с воплями неслись дети, кидая камни в облезлого пса. Пес выл, захлебываясь слюной. В этом месиве тел, звуков и испражнений Демокрит видел только бесконечный танец невидимых зерен. Мир был не храмом богов, а тесной камеркой, набитой сталкивающимся мусором.

— Все из пыли, и все в пыль, — пробормотал он, вытирая испачканную руку о еще более грязное колено. — И боги твои — лишь крупные кучи этой пыли, Глупый. Слиплись случайно, скоро рассыплются.

Он снова засмеялся — страшно, до хрипа, глядя, как в луже у его ног копошатся черви, не знающие, что они — лишь временная конфигурация вечной, равнодушной материи. Небо над Абдерами было низким, тяжелым, словно вымазанным сажей. Атомы продолжали свой слепой бег в пустоте, не замечая ни величия мысли, ни вони гниющего города.

Смерть Сократа

399 г. до н. э.

Философ выпивает чашу с ядом цикуты в окружении учеников, отказываясь бежать из тюрьмы, чтобы не нарушать законы города. Высший акт верности своим убеждениям.

Стены тюрьмы сочатся склизким серым потом. В узком проеме, забранном ржавым железом, колыхнется мутный свет — не то рассвет, не то вечные сумерки Афин, задыхающихся в испарениях сточных канав и прогорклого оливкового масла. Воздух густой, хоть топором секи: пахнет кислым вином, немывыми телами, чесночной отрыжкой и застарелым страхом.

Сократ сидит на низком топчане. Его босые ступни, грязные, с желтыми растрескавшимися ногтями, едва касаются холодного пола. Он похож на старого облезлого сатира, застрявшего в сточной яме. Живот висит дряблой складкой, в седой бороде запуталась крошка черствого хлеба. Он ковыряет в ухе мизинцем, внимательно разглядывая извлеченную серу, пока Критон, захлебываясь шепотом, умоляет его бежать.

— Законы, — хрипит старик, и голос его подобен треску ломающегося хвороста. — Они как старые бабы: ворчат, кусаются, но если их обесчестить, мир провоняет еще сильнее.

Рядом кто-то икотно всхлипывает. Аполлодор, забившись в угол, бьется лбом о каменную кладку; изо рта у него тянется нитка слюны. По коридору волочат что-то тяжелое — железный скрежет ввинчивается в череп. Мимо двери проносится стражник, на ходу справляя малую нужду в медный шлем.

Входит тюремщик, суетливый человечек с бегающими глазами и пятном жира на тунике. В руках у него грубая глиняная чаша. В ней булькает зеленоватая муть — сок цикуты, пахнущий болотом и конским навозом.

— Ну, философ, — сипит тюремщик, — давай, не задерживай. У меня смена кончается, а дома коза не доена.

Сократ берет чашу. Пальцы его не дрожат, но он долго и придирчиво разглядывает край сосуда, словно ища скол. Вокруг копошатся ученики — клубок тел, хитонов, спутанных волос. Кто-то лезет к нему лобызать руку, мешая, толкаясь локтями. Федон плачет, размазывая грязь по щекам, и этот звук смешивается с далеким лаем плешивой собаки во дворе.

Старик выпивает залпом. Горько. Он морщится, высовывает язык, делает несколько нелепых шагов по камере, шаркая пятками.

— Светло, — бормочет он, удивленно глядя на свои ноги. — Как ледком прихватило.

Он ложится. Вокруг нависают лица — потные, с воспаленными глазами, крупные поры кожи, небритые подбородки. Критон наклоняется так близко, что его горячее дыхание шевелит волосы в носу философа.

— Критон... — шепчет Сократ, и в его угасающем взгляде вспыхивает последняя, почти издевательская искра. — Асклепию петуха должны... Отдай, не забудь. Негоже богу задолжать, когда такая пирушка закончилась.

Он затихает. По камере проносится сквозняк, колыша грязную тряпку, заменяющую занавеску. Снаружи слышно, как кто-то истошно хохочет и бьет палкой по пустому чану. Великая истина растворяется в чавканье шагов уходящего тюремщика и запахе мокрой глины.

Публикация «Государства» Платона

Около 375 г. до н. э.

Момент, когда была сформулирована идея об идеальном обществе, управляемом философами. Попытка разума сконструировать совершенный мир, которая до сих пор будоражит умы политиков.

В Афинах стоит липкий, серый зной. Воздух густ от испарений нечистот, запаха жареной рыбы и прогорклого оливкового масла. Грязь на узких улочках напоминает густую кашу; в ней копошатся полуголые дети, собаки с ободранными боками и чьи-то забытые сандалии.

Платон сидит в тени покосившегося портика. Он стар, кожа на его щеках висит серыми лоскутами, а от былой олимпийской мощи — тех широких плеч, что когда-то вжимали противников в песок Истмийских игр — осталось лишь воспоминание, костлявый каркас под засаленной туникой. В бороде застряла крошка засохшего сыра.

Перед ним на рассохшемся столе лежит свиток. Вокруг суета, лишённая смысла: какой-то раб с воем тащит тачку, груженную скользкими бычьими внутренностями; мимо строем проходят гоппиты, звеня ржавым железом и почесывая срамные места.

— Справедливость, — бормочет Платон, и из его рта вылетает жирная муха. — Это когда каждый грызет свою кость и не заглядывает в чужую миску.

Рядом примостился Адимант. Он безостановочно ковыряет в ухе обломком стилоса. Его туника залита вином, а взгляд устремлен в стену, по которой ползет огромный, глянцевого клоп.

— Философы, — хрипит Платон, брызгая слюной на папирус. — Только они. Те, чьи души чисты, как вымытая кишка. Мы посадим их на трон. Они будут смотреть на солнце, пока не ослепнут, а потом спустятся в эту навозную яму, чтобы объяснить свиньям, что они живут в тени.

В этот момент сверху, с балкона, выплескивают помои. Поток мутной жижи с плеском падает рядом, обдавая мудреца зловонными брызгами. Платон даже не вздрагивает. Он выводит букву, похожую на скрюченного червя.

— Мы отберем детей у матерей. Свалим их в общую кучу. Пусть сосут общую соску. Никакой собственности. Только разум. Чистый, холодный, как лед на вершинах, которого никто из этих дураков никогда не видел.

Мимо пробегает хромо́й старик, выкрикивая непристойности в адрес богов. Его бьют палкой — глухо, методично. Платон смотрит на это с брезгливым любопытством. В его голове уже выстроены ровные ряды идеальных воинов, безликих и преданных, и правителей-мудрецов, чьи лбы высоки, а помыслы стерильны, как прижатая рана.

— Это будет Совершенный Город, — шепчет он, и ироничная гримаса искажает его лицо, превращая его в маску из терракоты. — Рай, построенный из человеческого мяса и строгой геометрии.

Он сворачивает свиток. На его краю остался грязный отпечаток большого пальца. Где-то вдали ревет осел, и этот звук кажется единственным честным комментарием к великому замыслу. Разум попытался объять хаос, но лишь придал ему форму аккуратно вырытой могилы.

Философия Аристотеля

367 г. до н. э.

Аристотель приходит в Академию Платона. Момент рождения научной логики, классификации и физики. Он создал «операционную систему» для всего западного мышления.

В Афинах стояла такая липкая, гниlostная жара, что мрамор портиков казался вспотевшим. Воздух в Академии пах не мудростью, а кислым вином, прогорклым маслом и нечистотами из прилегающих канав. Платон, старик с лицом, похожим на обглоданную временем подошву, сидел в глубокой тени, окруженный свитой полуголых, заикающихся юношей. Один из них усердно выковыривал грязь из-под ногтей, другой ловил мух, с хрустом раздавливая их прямо над ухом учителя.

— Идея, — шептал Платон, и из уголка его рта текла тонкая ниточка слюны, — есть чистый свет. Все, что мы видим — лишь шелуха, накипь на котле бытия.

В этот момент во двор вошел Аристотель. Он не шел — он продирался сквозь густую атмосферу, спотыкаясь о спящих рабов и задевая плечом развешанные для просушки засаленные туники. Ему было семнадцать, но глаза его смотрели с такой ледяной, хирургической трезвостью, что даже мухи, казалось, замирали в полете. В руках он сжимал дохлую ящерицу и пучок обгорелых веток.

— Учитель, — голос Аристотеля прозвучал сухо, как треск ломающейся кости. — У ящерицы три пальца на задней лапе повреждены, а чешуя имеет структуру, не подчиняющуюся вашему «свету». Если мы не классифицируем ее по родам и видам, она так и останется просто вонючей падалью.

Кто-то из учеников икнул. Старый раб, стоявший за спиной Платона, вдруг начал громко и надрывно сморкаться в подол своей хитоны. Платон медленно повернул голову. Его взгляд, устремленный в вечность, наткнулся на окровавленное брюшко ящерицы.

— Мир — это пещера, — безучастно пробормотал старик, пытаясь поймать пролетающего мимо слепня.

— Нет, — отрезал Аристотель. — Мир — это инвентарная ведомость.

Он сел прямо в пыль, разложил перед собой свои сокровища: обломки камней, сухих жуков, склянку с мутной водой. Он начал чертить на земле таблицы, разделяя сущее на категории, как мясник разделяет тушу. Субстанция, качество, количество, отношение... Его пальцы, испачканные в саже и лимфе, выводили алгоритмы, которые через две тысячи лет назовут логикой.

Вокруг царил хаос: кто-то мочился за колонной, слышалось невнятное бормотание, тяжелый кашель, чавканье. Физика рождалась не в тишине библиотек, а среди этого хрипа, пара и телесной немощи. Аристотель методично вбивал колышки определений в зыбкую почву платоновских грез.

— Если А есть Б, и Б есть В, то А есть В, — чеканил он, пока по его щеке ползла жирная, блестящая вошь. — Это неизбежно. Это закон. Это клетка, из которой вы не выйдете.

Он создавал операционную систему. Жесткий диск для цивилизации, где на каждый чих будет заведена отдельная папка. Он классифицировал даже этот гниlostный запах, разделив его на составляющие: сера, аммиак, разложение.

Платон вдруг зашелся в сухом, лающем кашле. Юноши бросились его обмахивать, поднимая тучи едкой пыли. Аристотель не поднял головы. Он продолжал описывать движение небесных сфер, исходя из того, как стекает жир с вертела на кухню.

В небе над Академией застыло тяжелое, свинцовое облако. Порядок был установлен. Мир стал понятным, предсказуемым и бесконечно душным. Классификация завершилась.

Герострат: пожар в храме Артемиды

21 июля 356 г. до н. э.

В ночь рождения Александра Македонского безумец Герострат сжег одно из чудес света, чтобы его имя помнили вечно. Предел античного тщеславия.

Эфес задышался в липком, сизом киселе. Воздух, густой от испарений болота и нечистот, застревал в горле комом мокрой шерсти. По улицам, спотыкаясь о сонных гусей и обломки амфор, брели тени в засаленных туниках. Кто-то харкал кровью в дорожную пыль, кто-то меланхолично бил соседа по затылку заплесневелой рыбиной. Мир был тесен, заставлен лишними предметами, завален гниющим мясом и божественным величием, от которого несло кислым вином.

Герострат шел к храму, продираясь сквозь толпу калек и торговцев амулетами. У него чесалось под мышкой, а в сандалию забился острый камень, но он не вынимал его — так было уместнее. Лицо его, одутловатое и серое, как сырое тесто, не выражало решимости. Скорее, это была судорога скуки.

— Эй, блаженный! — крикнул ему беззубый старик, волочащий за собой дохлую козу. — Куда прешь? Там богиня спит.

Герострат не ответил. Он протиснулся между колоссальными колоннами, которые в предрассветных сумерках казались ногами окаменевшего слона. Внутри пахло воском, старым деревом и застарелым потом жрецов. Артемида Многогрудая смотрела в пустоту своими неподвижными зрачками, а у ее подножия копошились крысы, доедая подношения.

Он достал огниво. Руки дрожали, но не от страха, а от сырости, пропитавшей кости. Чиркнул раз, другой. Искра лениво упала на сухую ветошь, припасенную в складках хитона. Огонь сначала не хотел есть кедр и золото. Он капризничал, пускал вонючий дым, словно тоже не выпался.

А потом вдруг чавкнуло. Пламя облизнуло занавес, густо расшитый жемчугом, и с жадностью втянуло в себя вековую пыль. Полыхнуло. Стало жарко, до тошноты, до хруста в суставах.

— Горю! — закричал кто-то снаружи, хотя горел не он, а история.

Герострат стоял в самом центре нарастающего гула. Потолок плевался раскаленным свинцом. Огромная балка рухнула рядом, раздавив случайного храмового кота. Снаружи поднялся вой — абсурдный, многоголосый, переходящий в бессмысленный хохот. Кто-то тащил из огня медный таз, кто-то пытался тушить пожар мочой, а кто-то просто упал в грязь и забился в падучей.

В это же время, где-то далеко в Пелле, царица Олимпиада кричала, вцепившись в простыни, рожая будущего бога. Но здесь, в Эфесе, бог умирал в копоты и воню.

Герострат вышел на ступени, щурясь от нестерпимого света. Его лицо было измазано сажей, с кончика носа свисала капля пота. Он открыл рот, чтобы провозгласить свою вечную славу, но вместо великих слов из него вырвался только сухой, лающий кашель. Огромная толпа, мечущаяся внизу в тумане и искрах, была слишком занята спасением своих жалких пожитков, чтобы слушать.

Его схватили за шиворот, ткнули лицом в навоз и начали методично бить палками по почкам.

— Имя! — орал стражник, чье лицо было залеплено грязным бинтом. — Имя говори, паскуда!

— Герострат... — прохрипел он, сплевывая выбитый зуб прямо в лужу, где отражалось рушащееся небо.

Храм падал долго, со вкусом, превращаясь в груды раскаленного мусора. Память началась с хруста костей и запаха паленой плоти. Это было предельно тесно, грязно и совершенно незабываемо.

Через неделю городские глашатаи, надсаживая глотки, разнесли по рынкам и трущобам строжайший запрет: отныне имя безумца вычеркивалось из свитков, из памяти и из самой тишины — за каждое его упоминание полагалась смерть.

Эфесцы послушно кивали, втапывая пепел в дорожную пыль, и заклинали своих детей никогда не произносить это сочетание звуков, пахнущее гарью. Но чем яростнее они шептали «забудьте его», тем глубже имя вгрызалось в камень разрушенных портиков, превращаясь из обычного слова в нестираемое клеймо на теле вечности. Запрет стал колыбелью для его славы: вычеркнутый из истории, Герострат остался жить в ее пустотах, смеясь над бессилием закона каждым новым обугленным кирпичом.

Спор Диогена с Платоном

Около 350 г. до н. э.

Платон в своей Академии дал определение человеку: «Человек есть существо о двух ногах, лишенное перьев». Весь город восхищался точностью формулировки. На следующую лекцию пришел Диоген. Он принес с собой ощипанного петуха, бросил его в центр круга и провозгласил: «Вот платоновский человек!». Это был великий момент столкновения кабинетной теории и уличного здравого смысла — пафос интеллектуального троллинга, переживший тысячелетия.

Гнилое марево Афин застоялось в узких проходах между портиками. Воздух густ, как кисель из извести и ослиного пота; он липнет к губам, пахнет прокисшим вином и нечистотами. В Академии сегодня тесно. Толпа — копошащаяся масса локтей, потных плеч и гнилых зубов — вжала в стены юношей с тонкими шеями.

Платон, облаченный в тяжелые, словно окаменевшие складки хитона, возвышается над этим месивом. Лицо его — маска из застывшего воска, глаза смотрят поверх голов, в чистую лазурь идей, которой здесь нет и быть не может. Он медленно размыкает губы, и голос его, чистый, как хирургический инструмент, разрезает чавканье толпы.

— Человек, — изрекает он, и слюна тянется тонкой нитью между его зубами, — есть существо о двух ногах, лишенное перьев.

В зале замирает даже чесотка. Гул восхищения, похожий на ворчание сытого зверя, перекатывается под сводами. Это кажется истиной. Это звучит как приговор.

И тут в дверном проеме, забитом телами, возникает брешь. Внутрь вваливается Диоген. От него разит старой кожей, сырой землей и многолетним безумием. Он продирается сквозь чистую публику, оставляя на белых одеждах полосы дорожной грязи. В руках он сжимает что-то живое, дергающееся, обернутое в тряпье.

Он доходит до середины круга, где свет падает особенно мертвенно. Резким, судорожным движением он вытряхивает содержимое на холодные плиты пола.

Это петух. Ощипанный до синевы, до пупырчатой, кровоточащей кожи. Птица шатается на тонких ногах, хлопает голыми крыльями, похожими на недоразвитые человеческие руки, и издает хриплый, захлебывающийся звук. Петух гадит прямо на мрамор. Желтая жижа медленно растекается к сандалиям мудреца.

— Смотрите! — Диоген скалится, обнажая черные пеньки зубов. Его смех похож на кашель астматика. — Вот он! Платоновский человек! Полюбуйтесь на брата своего!

Толпа отшатнулась. Пафос лопнул, как перезревший гнойник. В стерильной тишине слышно только, как ощипанная птица царапает когтями камень. Платон смотрит на это убожество, на этот живой кусок сырого мяса, и на его лбу выступает крупная капля пота. Мир идей зашатался под ударом этой голой, дрожащей плоти.

— И с плоскими ногтями... — едва слышно шелестит Платон, пятясь в тень колонн. — Добавьте: и с плоскими ногтями.

Но никто не слушает. Диоген уже мочится в углу на чью-то упавшую мантию, а ощипанный «человек» продолжает свой нелепый танец в самом центре торжествующей античной мудрости.

Диоген и Александр Македонский

Около 335 г. до н. э.

Столкновение двух миров. В Коринфе самый могущественный человек мира (Александр) подошел к философу, который жил в глиняном сосуде (Диогену). Александр был так поражен внутренней свободой философа, что сказал: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Момент абсолютного равенства духа и власти.

Коринф захлебывался в серой слизи и лошадином поте. Небо, тяжелое, как овечья шкура, пропитанная дегтем, висело так низко, что, казалось, задевало перья на шлемах проходящих фаланг. В воздухе стояла взвесь из чесночного перегара, мокрой шерсти и рыбьих потрохов. Где-то в стороне истошно визжала свинья, и этот звук перекрывал лязг бронзы.

Диоген ворочался в своей бочке — щербатом, вековом пифосе, вросшем в землю по самый обод. Бочка воняла кислым вином и старым псом. Старик, обросший коркой грязи, похожей на древесную кору, выуживал из бороды вялую вошь. Его пальцы, желтые и скрюченные, как корни мандрагоры, двигались медленно, сомнамбулически. Вокруг сустились тени: какой-то калека жевал сырую репу, пробежал раб с охапкой окровавленных тряпок, проковыляла хромая коза.

Вдруг гул толпы сменился тяжелым, ритмичным топотом. В узкий, загаженный переулок ввалилась кованая бронза. Блеск доспехов в этой полутьме казался неуместным, болезненным. Александр шел впереди, облепленный пылью дорог, в панцире, забрызганном чьей-то бурой желчью. За ним тянулась свита: заматерелые, потные полководцы, чьи лица застыли в гримасах угодливого ужаса.

Царь остановился перед глиняной емкостью. От него пахло дорогим маслом, железом и немывтым телом властителя. Он возвышался над грудой тряпья, которой был Диоген, как золотой идол над выгребной ямой. Сопровождающие затаили дыхание; кто-то икнул, прикрыв рот ладонью. Из-за туч робко выглянуло солнце.

— Я — Александр, царь Македонии и гегемон греческого союза, — голос харизматичного молодого человека прозвучал глухо, словно из-под завала. — Проси, чего хочешь. Я дам тебе города, золото, целые народы. Что я могу для тебя сделать, старик?

Диоген не поднял глаз. Он внимательно изучал сухую травинку, прилипшую к его голому колену. Тишина стала плотной, как кисель. Было слышно, как в сточной канаве копошатся крысы. Наконец, философ шевельнулся. Хрустнули суставы. Он медленно, с натугой, вытянул шею, и его мутный, слезящийся глаз зацепил расшитый золотом плащ царя.

— Отойди, — проскрежетал он, и изо рта вылетел гнилостный дух. — Ты заслоняешь мне солнце.

В свите кто-то охнул, схватился за рукоять меча. Александр замер. Его лицо, еще мгновение назад дышавшее имперским гневом, вдруг обмякло, пошло пятнами. Он смотрел на этого грязного, полубезумного старика, который был свободнее всех его фаланг, и в его зрачках отразилось что-то жалкое, почти детское.

Царь обернулся к своим людям. Те пятились, вжимая головы в плечи, боясь коснуться взглядом этой бочки, этой бездны.

— Если бы я не был Александром, — прошептал он, и в этом шепоте слышался лязг разбитых надежд, — я хотел бы быть Диогеном.

Он резко развернулся, сапог хлюпнул в грязь. Золотая стая двинулась прочь, растворяясь в тумане и чаде костров. Диоген снова закрыл глаза. Солнечный луч, бледный и немощный, едва пробившийся сквозь мглу, упал на его впалую грудь. Старик довольно хрюкнул и зачесался.

В Коринфе начался мелкий, едкий дождь, перемешанный с пеплом.

Основание Александрии Египетской

20 января 331 г. до н. э.

Александр Македонский лично наметил границы города ячменной мукой. Момент создания главного научного и культурного центра Античности, «окна» между Востоком и Западом.

Ветер соленый, ржавый, хлещет по глазам рыбьей чешуей. Берег нищий, вязкий. Под ногами хлюпает жирная жижа, перемешанная с битой ракушкой и козьим пометом. Никакого солнца — над болотом висит плотное серое варево, пар, пахнувший гнилыми водорослями и невымытым телом.

Александр, в помятом шлеме, сдвинутом на затылок, лезет через камыши. Доспех его заляпан птичьей известью. Он хрипит, харкает в песок черным. Сзади теснятся сподвижники — потные, помятые, с испитыми лицами. Кто-то икает, кто-то ковыряет в зубах обломком стрелы. Птолемей, спотыкаясь о дохлую корову, волочит мешок с ячменной мукой. Мешок прохудился, белое сыплется в грязь, смешиваясь с серой слизью.

— Здесь, — воет царь, тыча коротким пальцем в сторону пустой косы. — Здесь черти!

Он выхватывает горсть муки. Пальцы у него дрожат, под ногтями — траурная кайма. Он сыплет крупу прямо в лужи, по кругу, чертя границы будущего величия. Белая пыль оседает на мокрых камнях, прилипает к сапогам стражи. Мука пахнет прелью и старым амбаром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.